С 53/39
Гофман

Э.Т.А.Гофман

ДВОЙНИКИ

53
39

А.Лео

ДВОЙНИКИ
ГОФМАН.
А. Головинъ

PETROPOLIS

Отпечатано в ознаменование столетней годовщины со дня смерти
Э. Т. А. Гофмана

в количестве одной тысячи нумерованных экземпляров в 15-й гос. тип., под наблюдением В. И. Анисимова, из них 25 раскрашенных от руки и 100 с римской нумерацией в продажу не поступают

Экземпляр № 678

№ 145/21 № 147/12

Книга имеет:

Печатных листов	Выпуск	В переплетн. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн. №	Наклад и исписка
5						121	267

2761—45

46

Эрнст Теодор Амедей Гофман

53
39 [86кл]

ДВОЙНИКИ

ПЕРЕВОД
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

РИСУНКИ
А. Я. ГОЛОВИНА

ПЕТРОПОЛИС
1922

Всесоюзная
БИБЛИОТЕКА
имени
В. И. ЛЕНИНА
26344-41

Р. Ц. № — 1331.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Хозяин „Серебряного Ягненка“ сдернул с головы колпак, швырнул его на пол, и топтал его ногами по полу, и кричал:

— Вот так, так втоптал ты в грязь все святое: добропорядочность, благонравие, любовь к ближнему, — бессовестный ты, ехидный человек, богомерзкий трактирщик „Золотого Козла“! Только чтобы меня подсидеть, денег не пожалел изверг, заново вызолотил над воротами проклятое козлище. Как огонь, горит чорт: потускнел мой барашек серебряный, — вид потерял; а заезжие гости мимо, и прямехонько к Козлу! Что ни таскается по улице бесшабашной сволочи — канатных плясунов, фигляров, фокусников, — всех к себе норовит залучить негодяй: кишит трактир всяким сбродом, — кто ломается, кто винище тянет, как уксус кислое, с серой. А я свое первосортное рейнское сам должен глотать: коль уж пропадать винцу даром, пусть лучше тот его выпьет, кто толк знает в настоящем вине!... Только что комедианты из ворот вон, — попритих, думаешь, поганый Козел, — куда тебе!.. Тут как тут колдунья с вороном, а за нею следом целый кагал: пошло гаданье, а за гаданьем едят да пьют, а денежки-то текут!... А как мой соседушка за посетителями ухаживает легко себе представить: отчего бы это случилось, что приезжий, пригожий такой, молодой барин, давеча у него останавливался, а нынче, как прибыл в город, — прямо ко мне? Зато и уход за ним здесь будет, как за вельможей... Кой чорт, однако? Куда же это он, молодой господин-то? Никак к Золотому Козлу? Ведьма, видно, проклятая взманила: поглазеть любопытствует. А уж обеденное время. Высокородный господин откушать изволит у Золотого Козла? Серебряного Ягненочка кухнею брезгует?.. Господин почтеннейший!.. Ваша милость!..

Так кричал трактирщик в открытое окно. Но Деодат Швенди (это был молодой человек) отдался людскому потоку,

который понес его в близлежащую гостиницу. Под сводом ворот и на дворе стояла густая толпа; сдержанный шопот проносился по ней,—насыщенный ожиданием. Посетителей пускали в залу по-одиночке,—на смену прежде вошедших, которые, один за другим, появлялись наружу, кто—растерянный и смущенный, кто—задумчивый, кто—веселый.

— Понять не могу,—говорил серьезный старичек, пробравшийся вслед за Деодатом в угол двора—как городские власти не примут мер против этого бесчинства?

— Зачем же?—спросил Деодат.

— Ах! — воскликнул сосед досадливо,—вы—приезжий, потому вам и не известно, что время от времени жалует сюда эта старуха дурачить публику двусмысленными предсказаниями. При ней большой ворон: умная птица всем любопытствующим, о чем ее ни спросят, пророчит,—точнее: честный люд морочит. Правда, кое-что из этих гаданий странно сбывалось; но я уверен, что в ста случаях на один удачный, ворон привирается. Вглядитесь только в лица побывавших у гадалки—и вы легко приметите, что женщина с вороном едва-ли не сводит их с ума. Прямо непозволительно в наш просвещенный, слава Богу, век терпеть столь пагубное суеверие!..

Но дальнейших сетований расходившегося старика Деодат уже не слушал: красивый на заглядение юноша вышел, смертельно-бледный, с глазами, влажными от слез, из залы, куда за несколько минут до того вступил с ясным лицом и беспечною улыбкой.

И поверилось Деодату, будто за тем занавесом, куда проскальзывают дождавшиеся своей очереди люди, действительно скрыта темная жуткая сила, разоблачающая перед взором весельчака его безотрадную будущность, злорадно убивающая всю беззаботность светлого мига.

Но в то же время поднялось в нем желание—пойти туда самому и вопросить ворона, что принесут ему ближайшие дни—быть может, часы. Таинственно посылал сына старый Амедей Швенди из далекого края в этот город.

Тут должна была решиться вся судьба Деодата чудесным событием,—как возвестил ему в темных, загадочных намеках его отец. Тут наяву должен был он увидеть существо, дотоле сплетенное с его жизнью только в сонных грезах. Ему предстояло испытать и проверить, может ли это видение, все

могущественнее и лучезарнее разгораясь из заброшенной в душу Деодата искры, облечься в плоть осязаемой существенности. И если — да, он должен был помочь этому осуществлению — действием.

Уже Деодат стоял у входа в залу; уже и завеса приподнялась, и он расслышал отвратительный каркающий голос. Словно ледяной поток в него хлынул; ему показалось, будто чей-то незнакомый образ преграждает ему путь: он отшатнулся назад, другие опередили его, — и так случилось, что он, бессознательно и мимовольно, поднялся по лестнице дома и попал в столовую, где для многочисленных посетителей накрыт был обеденный стол.

Хозяин приветливо направился ему навстречу:

— Добро пожаловать, господин Габерланд! Что дело, то дело! Хоть и в скверным трактире изволили вы остановиться, у Серебряного Ягненка, но пообедать — где же тонко пообедаешь, как не за всесветно-известным столом Золотого Козла? Честь имею предложить вам вот это самое местечко — тут!

Деодат заметил, что хозяин ошибся, приняв его за другое лицо, но раз'яснить недоразумение поленился: его язык связывала та особенная неохота произносить слова, которая часто бывает следствием только-что испытанного нами глубокого внутренняго возбуждения. Молча занял он указанное ему место за столом. Предметом разговора обедающих служила гадалка. Высказывались противоречивые мнения: одним ее проделки казались пустым фокусничеством, скоморошеством; другие приписывали женщине с вороном совершенное знание таинственных сплетений жизни и отсюда выводили ее вещий дар.

Весьма пожилой и, при небольшом росте, излишне наклонный к тучности господин, частенько понюхивавший табак из золотой табакерки, которую он всякий раз предварительно протирал рукавом своего сюртука, причем усмехался необыкновенно умно и замысловато в пространство перед собою, — заявил, что Городской Высокий Совет, скромным членом коего он имеет честь состоять, скоро воспретит проклятой ведьме ее промысел, как плутовской, поелику она промышляет ремеслом подлинной ведьмы, таковою не будучи. В самом деле, если она как бы читает в сердце каждого, а ворон рассказывает его жизнь in nuce, — впрочем, дурным слогом, и в крайне причудливых оборотах речи, — это, во всяком слу-

чае, не большая диковина. Видели же все в городе, еще на прошлой ярмарке, живописца и продавца картин, в лавченке которого каждый мог найти свой собственный и притом весьма схожий с оригиналом портрет.

Гости хохотали.

— Это и вас касается, господин Габерланд! — воскликнул какой-то молодой человек, обращаясь к Деодату: ведь вы сами превосходный портретист, но до таких высот искусство ваше, согласитесь, не воспаряло!

Вот уже второй раз Деодата смешивали с каким-то господином Габерландом, который был, как только-что выяснилось, художником. Деодату стало жутко: уж не призрак ли он, всем своим внешним обличием и внутреним существом, не двойник ли этого неведомого ему Габерланда?.. Но жуткое чувство, им овладевшее, возросло до ужаса, когда в то же мгновение, — прежде чем он успел ответить назвавшему его Габерландом сотрапезнику, — бросился к нему молодой человек, одетый по дорожнему, и стиснул его в своих об'ятиях, восклицая:

— Габерланд! милый, дорогой мой Георг! Наконец-то я нашел тебя! Ну, теперь весело пустимся вдвоем в дальнейший путь — туда, туда, в прекрасную Италию!.. Но, что с тобой? Отчего ты так бледен и расстроен?

Деодат отвечал на бурные приветствия незнакомого ему человека так, как будто бы он действительно был давно разыскиваемый и ожидаемый своим другом художник Георг Габерланд.

Ему подумалось: уж не вступает ли он на самом деле в круг чудесных явлений, о коих предупреждал его в неясных выражениях старик-отец. Он должен был послушно отдаваться всему, что темное могущество о нем решило. Но остро ощутил он и ту озлобленную иронию, которою человек стремится сохранить и оберечь свою внутренюю самобытность от чуждого и недоступного ему произвола. Полный сжигавшего его душу мрачного огня, схватил он юношу за плечи и вскричал:

— Эх, ты, братец мои названный! Как же мне не растеряться? Ведь я со всем своим нутром, только-что влез в другого человека, как влезаешь в новый сюртук. А обнова еще не совсем тебе по плечу: тут тянет, там жмет. Так-то дружище! Разве я не подлинный Георг Габерланд, художник?

— Не знаю, что о тебе сегодня и подумать! — сказал незнакомец: быть может опять ты испытываешь то странное состояние, что временами находит на тебя, как периодическая болезнь. Кстати, хотелось бы мне спросить, что значит эта вся непонятная галиматья, которою переполнено твое последнее письмо?

С этими словами незнакомец вынул и развернул письмо. Заглянув в него, Деодат закричал, как от болезненного прикосновения невидимой враждебной силы: он увидел на бумаге свой собственный почерк.

Незнакомец бросил на Деодата беглый взгляд и начал тихим голосом медленно читать вслух:

— „Ах, милый собрат мой по искусству, Бертольд! Ты не знаешь, какая мрачная, мучительная и все-же благотворная меланхолия мною овладевает, чем дольше я странствую. Пустым и скудным представляется мне все чаще и чаще и мое искусство и все в чем проходит изо дня в день моя жизнь. Зато пробуждаются в душе пленительные сновидения моей первой, свежей, веселой юности. Лежу, растянувшись на траве, в садике старого священника, и гляжу на небо: легкий поезд царицы Весны приближается на золотых утренних облаках. Цветики раскрывают свои милые глазки, просыпаясь от яркого света, и струят к солнцу благоухание, как песнь хвалебную.

Ах, Бертольд, грудь моя разрывается от любви и тоски, от томительно-жгучего желания! Где найду ее опять,-ее, кто—вся моя жизнь, все бытие мое? Надеюсь встретить тебя в Гоэнфли, где пробуду несколько дней. Мне кажется: именно там должно случиться со мною нечто особенное... Откуда это чаяние,—не знаю.“

— Ну, теперь скажи мне,—говорит Бертольд, резчик по меди (вот кто был незнакомец), по прочтении вышеприведенных строк: скажи мне, брат Георг, позволительно ли, в годы свежей, веселой юности, на пути в обетованную землю художников, предаваться такому расслабленному мечтательству?

— В самом деле, милый товарищ,—отвечал Деодат,—со мною деется что-то неладное. Не смешно ли, например, что я от всей души писал то, что ты сейчас прочел,—а все-же я—отнюдь не тот Георг Габерланд, кого ты...

В эту минуту вошел в столовую молодой человек, приветствовавший давеча Деодата, как художника Георга Габер-

ланда, и сказал, что Георг прав: конечно стоило вернуться в город, чтобы взглянуть на вещую женщину. На пересуды застольных остряков не следует обращать ни малейшего внимания, да и не в том, наконец, дело, сбываются ли предсказания ворона или нет; необычайно зрелище самой вещуньи, когда она выступает, как новая Сивилла или Пифия и в диком восторге произносит загадочные изречения, а вокруг нее глухо звучат иные таинственные голоса. Такое представление она дает сегодня в большом боскете сада, — и Георгу нельзя пропустить такой случай.

Бертольд ушел справить разные дела, о коих ему надлежало позаботиться в Гоэнфли. Деодат согласился осушить бутылки две в компании приветливого молодого человека и тем скоротать время до наступления вечера.

Наконец, общество, ожидавшее в верхней зале начала представления, тронулось в сад. В сенях промелькнул мимо высокий, худощавый, изящно одетый человек, новый, только что прибывший гость.

Перед тем, как войти в комнату, приезжий обернулся назад: взгляд его упал на Деодата, — и, как он схватился рукой за скобу двери, так и остолбенел; злобный огонь вспыхнул в его темных глазах; по лицу, смертельно побледневшему, пробежала судорога. Он ступил, было, на встречу мимо идущему обществу, но вдруг одумался, отвернулся, вбежал в комнату и яростно захлопнул за собою дверь. Что бормотал он сквозь зубы, никто не мог разобрать.

Из всех гостей молодой Швенди уделил наименьшее внимание странному поведению незнакомца: он взглянул на происшедшее рассеяным взглядом. Общество направилось к боскету.

Последние лучи вечернего солнца ударяли в спину высокой женщине, закутанной с головы до ног в просторную мантию землисто-желтого цвета. Лица ее не было видно: она стояла, отвернувшись от входящих. У ног ее лежал большой ворон, распластав по земле недвижные крылья; он казался мертвым.

Неожиданное, необычное зрелище сразу всех захватило и смутило: шопот замер, и в тяжелом молчании, с сердцем, томительно стесненным, присутствующие ждали, что будет делать вещунья.

Какой-то шорох, похожий на плеск льющихся струй, прошелестел по темным зарослям, — перешел в раздельный лепет, — прозвучал внятными словами:

— Фосфор осилен. Калится котел горючий на западе тусклом. Орел ночи! к снам пробудившимся взвейся вещий!

Ворон приподнял поникшую голову, шевельнул крыльями и взмыл, каркнув, в высь. Сивилла широко распростерла руки, плащ соскользнул с ее плеч, и глазам собравшихся предстала дивно-величественная женщина в белой одежде, спадающей пышными складками к ногам и перехваченной у стройного стана поясом из сверкающих самоцветных каменьев. Искусно перевитые черные волосы были высоко подняты на темени. Шея, затылок и руки, оставаясь обнаженными, являли могучую округлость очертаний.

— Какая же это старуха? — пронеслось по рядам гостей.

Меж тем заслышался глухой, далекий голос:

— Чу, стон и вой в вечернем ветре!..

Еще более отдаленный голос отозвался:

— Плач зачинается: светит во мгле светлячок...

Ужасный, душу раздирающий вопль пронесся в воздухе. Женщина говорила:

— Вы ли это, звуки дальних жалоб, вырвались где-то из груди людской?.. К чему? — Прозвучать вам любо в просторах скорбным хором?.. Но радостен будет последний отзвук! Ваша владычица, вечная сила, — та, чей престол в небесах благодатных, — тоска желаний, любви тоска!

Глухие голоса ответствовали громче и плачевнее:

— Услада тоски, умерла надежда! Тоска желаний, без упований, — скорбь безутешная!

Глубокий вздох издала заклинательница и — как-бы в отчаянии — воскликнула:

— Надежда — смерть. Жизнь — темных сил жестокая игра!..

Тогда, помимо его воли, вырвался из груди Деодата крик:

— Наталия!

Женщина быстро обернулась, и на Деодата, искаженная исступлением, уставилась горящими глазами личина страшной старухи. Устремясь к нему с протянутыми вперед руками, она хрипела в гневе:

— Зачем ты здесь? Прочь, прочь! Убийца за тобою. Спаси Наталию!..

Шумно шарахнулся сквозь лиственный навес ворон и, задевая крылом Деодата, каркнул:

— Прочь! прочь!

Охваченный диким ужасом, потеряв на мгновение рассудок, Деодат бросился опрометью вон...

Когда он прибежал к себе в гостинницу, хозяин сообщил ему, что несколько раз в его отсутствие наведывался к нему богато одетый господин; в своих расспросах он не называл его по имени, но точно определил его наружность приметами,— и в заключение оставил для передачи ему записку.

Деодат сорвал печать; записка действительно была обращена к нему. Он прочел следующие слова:

— „Не знаю, наглостью ли неслыханною или сумасшествием должен я назвать ваше появление здесь. Если вы не бесчестный негодяй, — что, впрочем мне кажется почти вероятным, — удалитесь немедленно из Гоэнфли или ожидайте, что я найду средство навсегда излечить вас от вашего безумия. — Граф Гектор фон Целиес."

— „Надежда — смерть; жизнь — темных сил жестокая игра", — глухо пробормотал Деодат, пробежав эти строки. Он твердо решился не покидать Гоэнфли из-за угрозы незнакомца,— тем более, что причиною их была, очевидно, какая-то непонятная ошибка, — напротив, с мужественной твердостью и отвагой встретить все, на что ни обрекает его темное могущество.

Вся душа его была переполнена робким чаянием, неизъяснимое томление теснило грудь, — его потянуло из городских стен на вольный простор. Уже стемнело, когда он, памятуя об угрозах своего неведомого преследователя, вооружился парою пистолетов и направился за город через Нейдорфские ворота.

Он был на площади перед воротами, когда вдруг почувствовал, что кто-то сзади за него хватается и тянет его назад.

— Спеши, спеши, спаси Наталию, — пора, пора! — расслышал он чье-то бормотание.

Отвратительная старуха вцепилась в него и увлекала за собою. Неподалеку ждала карета с отворенною дверцей; старуха втолкнула в карету его и влезла сама; в темноте чьи-то мягкие руки обвились вокруг его шеи, и нежный голос прошептал: — Любезный друг, наконец-то, наконец, ты здесь!

— Наталия, моя Наталия! — вскричал он и, обезумев от счастья, принял возлюбленную в свои об'ятия.

Карета быстро катилась по дороге, пролегавшей густым лесом. Вдруг ярко сверкнул из-за кустов пылающий факел.

— Это они! — воскликнула старуха: — еще несколько шагов, и мы погибли.

Деодат опомнился, остановил экипаж, соскочил наземь и, с заряженным пистолетом в руке, двинулся на свет. Огонь потух в то же мгновение. Деодат повернул назад, но через миг оцепенел от ужаса: перед каретой стоял мужчина, который его собственным голосом сказал: — Опасность миновала! — и, вскочив в экипаж, захлопнул за собою дверцу. Лошади тронули.

Деодат хотел бежать за быстро удалявшейся каретой, когда выстрел из-за кустов свалил его с ног.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Нужно сказать благосклонному читателю, что то́ отдаленное место, откуда старый Швенди послал своего сына в Гоэнфли, было дачею в окрестностях Люцерна. А городок Гоэнфли лежит в шести, семи часах езды на почтовых от Зонзица, резиденции владетельного князя Ремигия.

Если в Гоэнфли жилось шумно и весело, жизнь в Зонзице разыгрывалась так сказать под сурдинку, — совсем как в Геренгуте или в Нейзальце.

В Зонзице ходили на цыпочках, и даже необходимая перебранка велась в полголоса. Свойственных резиденции увеселений — балов, концертов, спектаклей — и в помине не было; бедные обыватели считали себя обреченными на тоску и скуку; впрочем, нуждающимся в развлечении стоило только проехаться в Гоэнфли.

Унылой же и тоскливой стала жизнь в столице княжества вот по какой причине.

Владетельный князь Ремигий, когда-то ласковый и открытого нрава государь, впал, тому лет двадцать, в глубочайшую, с безумием граничащую, меланхолию. Не желая расставаться с насиженным гнездом, он постарался обратить Зонзиц в подобие пустыни, где царит мрачное безмолвное отчаяние. Только доверенейших своих советников и необходимейшую прислугу допускал он к себе на глаза; никто из приближенных не смел и рта открыть, прежде чем князь не обратится к нему с вопросом. Выезжал он в карете с плотно завешанными окнами, и встречные не имели права ни единым жестом обнаруживать подозрения, что в карете сидит князь.

О событиях, послуживших источником этой меланхолии, ходили темные слухи. С достоверностью известно было одно: через несколько месяцев по благополучному разрешению супруги князя от бремени сыном, когда верный народ еще не перестал ликовать по случаю рождения престолонаслед-

ника, — внезапно и мать и ребенок, — неведомо, как и куда, — исчезли. Кто полагал, что княгиня с сыном, став жертвою неслыханных козней, были похищены; кто — что князь обоих сослал. Сторонники второго мнения ссылались на одновременное отрешение от всех должностей графа Терни, княжеского первого министра и нарочитого любимца: в их глазах эта опала была уликою, что князь открыл преступную связь жены с графом и усомнился в законном происхождении ребенка. Однако все, ближе знавшие княгиню, разделяли искренную уверенность, что отнюдь не сообразно с ее чистейшею, безукоризненною добродетелью и прямо нелепо — приписывать ей такое деяние.

Никто в Зонзице, под страхом суровой кары, и пикнуть не смел об исчезновении княгини. Доносчики не дремали, и внезапные аресты лиц, имевших неосторожность говорить об этом вне четырех стен своей комнаты, доказывали, как чутки невидимые уши. Столь же опасно было шептаться о князе, о его горе, о его образе жизни, и этот деспотический запрет тяжелым гнетом ложился на верноподанных обитателей резиденции, которым и беседа не в беседу без придворной сплетни.

Любимым местопребыванием князя была небольшая вилла за городскими воротами, с обширным, отовсюду надежно огражденным парком. По темным, глушимым дикими зарослями, аллеям этого парка бродил в один прекрасный день владетельный князь, предаваясь сокрушительной тоске, гложущей его сердце, — как вдруг неподалеку послышался ему странный шум: какие-то нечленораздельные звуки, кряхтение и стон, вперемежку с противным писком и хрюканием, — наконец, в приступе задыхающегося бешенства довольно внятно прорвавшуюся ругань. Разгневанный, в недоумении, кто, вопреки строжайшему запрету, осмелился забраться в парк, князь выступил из-за кустов, и тут глазам его представилось зрелище, которое могло бы развеселить самого угрюмого ипохондрика. Два человека: один длинный и тощий, как сама чахотка, другой — короткий, румяный Фальстафик, расфрантившийся со всем праздничным щегольством идеального мещанина, — бились кулачным боем, казалось не на жизнь, а на смерть. Долговязый кащей длинными руками, похожими на две булавы с насадками из огромных кулачищ, молотил

карапузика столь нещадно, что бесполезным представлялось дальнейшее сопротивление последнего и наиболее разумным — скорейшее бегство. Но, пылая отвагою, он хотел, подобно парфянам, и в самом бегстве разить. Тогда кащей вцепился ему в волосы: ошибочный воинский прием! Парик остался у него в руках, коротыш стратегически воспользовался облаком пудры, скрывшим его от глаз противника, присел и, с протянутыми вперед кулаками, проворно подкатившись под ноги врагу, так ловко сшиб его с ног, что тот, с зычным криком, грохнулся навзничь. Тогда лилипут бросился на великана и, запустив пальцы левой руки, как абордажный крюк, в его шейный платок, принялся колотить лежащего, без устали и милосердия работая коленями и кулаком свободной руки: лицо жертвы стало багровым, потом синим; из горла вырывался хрип. Вдруг он впился костлявыми пальцами в своего мучителя сбоку и отшвырнул его от себя с такою силою последнего отчаяния, что тот взвился, как мяч, и хлопнулся оземь прямо у ног князя.

— Собаки! — взревел князь голосом раз'яренного льва: какой дьявол вас сюда занес? как вы тут оказались?

Можно себе представить с каким ужасом оба расходившиеся гимнаста подымались с земли, как стояли они перед прогневанным князем, подобясь двум бедным, погибшим грешникам, в страхе и трепете, бессильные не только произнести слово, но и издать какой-либо звук.

— Вон! — опять окрикнул их князь: сейчас же вон! Я прикажу выгнать вас плетьми, если вы на минуту замешкаетесь!

Тогда долговязый бросился на колени и заревел в отчаянии:

— Пресветлейший князь, милостивец! О правосудии ходатайствую! Кровь за кровь!

Слово „правосудие“ было одним из немногих слов, на которые князь еще живо отзывался. Острым взглядом воззрился он на говорившего и, немного смягчась, молвил:

— В чем дело? Говорите оба. Но берегитесь врать вздор!.. В двух словах!

Быть может, благосклонный читатель уже догадался, кто были храбрые бойцы. Это были два знаменитые трактирщика из Гоэнфли, содержатели Золотого Козла и Серебряного

Ягненка. Их давняя распря так обострилась, что оба, наконец, пришли к безумному решению: не довольствуясь мудростью Городского Высокого Совета, повергнуть на суд самого князя свои перекрестные жалобы на понесенные ими друг от друга обиды и ущербы. Случай свел обоих у наружных ворот парка, а сторож, глупый малый, впустил их за решетку. В дальнейшем можно не без удобства называть каждого по его вывеске.

Итак, Золотой Козел, ободренный более спокойным звуком княжеского голоса, уже приготовился держать речь, но был задержан ужасающим припадком удушливого кашля — следствием, быть может, абордажной атаки противника. Это роковое обстоятельство мгновенно обратил в свою пользу Серебряный Ягненок и с немалым красноречием изобразил князю все козни и происки Козла: особливо, как он заманивает к себе гостей, отворяя ворота настеж всякого рода площадным проходимцам, шутам, скоморохам, фокусникам и другим подонкам города. Он описал женщину с вороном, упомянул о ее наговорах, ведовствах и морочущих крещеный люд гаданиях. Казалось, его слова возбудили любопытство князя, который хотел представить себе наружность колдуньи с головы до ног, осведомлялся, когда она пришла и где находится теперь. Ягненок заявил, что он, с своей стороны, видит в ней ни что иное, как полоумную цыганку, плутовку и обманщицу, вполне заслуживающую, чтобы Высокий Совет в Гоэнфли незамедлительно отправил ее в тюрьму.

Князь вперил сверкающий пронзительный взгляд в глаза Ягненка, отчего последний, как будто он поглядел на солнце, вдруг расчихался. Его чиханием поспешно воспользовался Золотой Козел, давно оправившийся от приступа кашля и выжидавший первого случая перебить речь соперника. Сладко и вкрадчиво заговорил Козел. Он всеподданейше доложил, что показания Ягненка об укрывательстве Козлом подозрительного и полицией преследуемого люда—ябеда и навет, и распространился в похвалах вещей женщине о коей самые образованные и важные господа, первые знаменитости города, ежедневно оказывающие ему честь обедать за его столом, единогласно свидетельствуют, что она существо сверхестественное и достопримечательнее первейшей сонамбулы.

Зато под вывеской Серебряного Ягненка творится что-то неладное!

Одного благовоспитанного, красивой наружности молодого господина, только что вернувшегося в город, переманил к себе Серебряный Ягненок,—и в ту же ночь путешественник подвергся в своей комнате вооруженному нападению и был ранен; состояние его представляется безнадежным.

Забывая в приступе ярости всякую осторожность, всякую почтительность перед князем, Серебряный Ягненок дал волю охватившему его негодаванию и кричал, что тот, кто утверждает, что молодой Георг Габерланд подвергся нападению и был ранен в своей комнате, — бессовестнейший негодяй и самый от'явленный из всех злодеев, кои когда-либо волочили по дорогам кандалы. Напротив, полицейским расследованием установлено, что Габерланд прогуливался вечером у Нейдорфских ворот, к нему под'ехала карета, из кареты чей-то женский голос крикнул: „Спаси Наталию! — после чего молодой человек немедленно вскочил в экипаж...

— Кто была женщина в карете?—спросил князь строго.

— Говорят, — заикнулся Золотой Козел, пытаясь опять завладеть ролью докладчика,—говорят, будто, вещая женщина еще раньше...

Но слова застряли у него в горле: столь страшен был взгляд князя, и в ответ на убийственное княжеское: „Что же дальше?"—замялся в смущении Козел, а Серебряный Ягненок, оказавшийся в стороне от поля действий губительных лучей, исподтишка заметил:

— Да, вещая женщина и художник Георг Габерланд... Его подстрелили ночью в лесу, это известно всему городу. В лесу его и подобрали, а ко мне привезли рано утром. Он и теперь лежит у меня в гостиннице. Поправится наверное.— Уход превосходный... и приезжий граф,—граф фон Целиес...

— Что? Кто? — так закричал князь, что Серебряный Ягненок отскочил прочь шага на два. — Довольно! — продолжал повелитель грубо, убирайтесь оба, чтобы вмиг и духа вашего тут не было! Коли два трактирщика ссорятся, тот прав, кто лучше кормит. Ежели дойдет до меня отдаленнейший слух о сваре и неладах между вами, я распоряжусь чтобы Городской Совет сорвал вывески с ваших домов и обоих вас выгнал из ворот Гоэнфли. Изрекши таковой, краткий, но внушительный приговор, князь оставил обоих трактирщиков застывшими на месте и быстро скрылся в кустах.

Княжеский гнев укротил мятежные души. Пронзенные сердечным сокрушением, с грустью обменялись красноречивыми взглядами, Серебряный Ягненок и Золотой Козел, внезапно прослезились и, воскликнув в один голос: „сват“ — порывисто обнялись. Меж тем как Золотой Козел цепко обхватил Ягненка за плечи, наклонился над ним всем станом и в траву капали его горячие, частые слезы, Серебряный Ягненок тихо рыдал от переполнявшей его скорби на груди примиренного врага.

Это было высокое мгновение!

Но два подоспевших княжеских егеря не были, повидимому, любителями патетических сцен: как Золотого Козла, так и Серебряного Ягненка они одинаково схватили, что называется за шиворот и без всякой учтивости вышвырнули за ворота парка.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Холм и дол, луга, поляны,
Всюду путь, просторен свет,
А надежды как туманы
Ткут воздушные обманы:
Подойдешь—их нет, как нет.

Что ни вечер—новоселье,
А наутро — новый путь.
Весел свет; но где же зелье
Что безпечность и веселье
Мне вернуло б в эту грудь?

Все ль надежды обманули?
Ты зашла-ль, моя звезда?..
Если-б духи мне шепнули,
Где ж ОНА, ЕЕ найду ли,
Иль утратил навсегда?

К ней стремлюсь душой унылой!
Жизнь моя — ОНА одна!
Только ночью призрак милый
Оживительною силой
Светит мне сквозь волны сна.

Но с концом ночного круга
Пробуждаюсь я в слезах:
Обрету ль в участь и друга
Боль сердечного недуга
Умягчающий бальзам?..

Гравер Бертольд мурлыча себе под нос эту песенку, сложенную его другом художником Георгом Габерландом, расположился на холме под большим деревом, с альбомом на коленях, вознамерившись, как можно ближе к природе, зарисовать уголок лежащей перед ним внизу деревни.

Но когда дошел он до заключительных строк песни, слезы навернулись ему на глаза: живо вспомнился друг, которого прежде удавалось ему, бывало, то веселой шуткой, то бодрым и светлым разговором об искусстве вырвать из когтей черной

хандры. За последнее время эта меланхолия возросла до непонятного болезненного уныния и окончательно разлучила друзей.

— Нет! — вскричал Бертольд, поспешно собирая только что вынутые разложенные вокруг рисовальные принадлежности в походную сумку и вскакивая на ноги: Нет, милый Георг! Что до участья, ты его не утратил: бальзам дружбы не должен для тебя оскудеть! В поход, на розыски! И не раньше я оставлю его, чем увижу спокойным и счастливым.

Он сбежал назад в деревню, чтобы немедленно тронуться в путь на Гоэнфли.

Был вечерний день; солнце садилось, сельчане тянулись в кабак. По деревенской улице шел странно одетый человек и напевал веселый марш на так называемой флейте Пана, стволинки которой высовывались из под воротника его рубашки, так что губы легко могли пробегать по скважинам, между тем как руки, вооруженные барабанными палочками, отбивали дробь по висящему на закинутой через плечо перевязи барабану. За ним влачилась старуха-цыганка, звучно бряцавшая в такт на треугольнике. Следом медленно и раздумчиво выступал крепкий осел, нагруженный двумя плотно набитыми корзинами, по которым прыгали и возились две забытые обезьянки. По временам флейтист приостанавливался и начинал хриплым голосом горланить странную песню, а цыганка, обычно сгорбленная, немного выпрямляла стан и сопровождала пение дикими, зычными вскриками. Осел, в свою очередь, подымал свойственный ему от природы потрясающий вопль, обезьяна — пронзительный писк, — и все вместе составляло самый приятный и увлекательный хор, какой только можно себе представить.

Все внимание Бертольда привлек к себе молодой человек с флейтою Пана и барабаном. Молодость его бросалась в глаза, несмотря на то, что юношеское лицо было безобразно вымазано всеми красками и к тому же изуродовано большим докторским париком, поверх которого сидела на бекрень крошечная галуном отороченная треуголка. Одет он был в потертый кафтан алого бархата, с большими, золотом шитыми, отворотами. Наряд дополняли: широкий откидной воротник à la Hamlet, короткие панталоны из черного атласа и черные шелковые чулки по последней моде, башмаки с огромными

пестрыми бантами и, наконец, у левого бедра — изящная дворянская шпага.

Он строил невероятные рожи и делал головоломные прыжки; мужичье хохотало во все горло, но Бертольд угадывал в этих шутовских выходках жуткое исступление человека близкого к безумию. К тому-же чем пристальнее вглядывался он в лицо плясуна, тем живее ощущал особенное, ему самому непонятное волнение.

Наконец, скоморох, постоянно подвигавшийся вперед, облюбовал местечко перед корчмой на середине луга и громко забарабанил сбор. Когда по этому знаку сельчане обстали луговину широким кругом, он громогласно об'явил почтеннейшей публике, что намерен дать представление, какому подобного, по красоте и великолепию, не видывали сами властелины и первые вельможи страны.

Между тем цыганка ходила по кругу, сбывала с дикими ужимками и шутливыми присловиями коралловые ожерелья, ленты, образки, гадала по руке то той, то другой деревенской девке, которая краснела, как маков цвет, при словах старухи о женихе, свадьбе и крестинах, под перешептывание и смех подруг.

Молодой человек развязал тюки, разобрал корзины, соорудил небольшой помост и разукрасил его пестрыми ковриками. Бертольд понял, что строится кукольный театр. Последовало представление по обычному итальянскому образцу. Неугомонною живостью и пронырливостью отличался полишинель: никогда не падая духом он ловко ускользал из всяких опасностей и неизменно торжествовал над своими врагами.

Зрелище, казалось, подходило к концу, когда дотоле спрятанный режиссер вдруг выставил над кукольною сценою свою размалеванную харю и уставился на зрителей мертвенно-недвижными глазами. Полишинель с одной стороны, доктор с другой были в начале до бесчувствия перепуганы появлением исполинской головы, потом оправились, тщательно оглядели в подзорные трубки лицо великана, ощупали руками его нос, рот, лоб, до которого едва могли дотянуться, и завели глубокомысленный ученый спор о свойствах головы и о том, каково должно быть принадлежащее к ней туловище, и посажена ли она вообще на какое бы то ни было туловище. Доктор высказывал самые нелепые гипотезы, полишинель, напротив, обна-

руживал много здравого смысла, догадливости и веселого остроумия. Наконец, оба согласно решили, что, так как туловища не видно, то его вовсе и нет; только доктор прибавил еще в пояснение, что природа, когда обмолвилась этим гигантом, употребила риторическую форму, именуемую „синекдохой" и состоящую в том, что для означения целого говорящий называет одну лишь часть оного. Полишинель держался, напротив, того взгляда, что исполинская голова — несчастливец, у коего от долгих раздумий и безумных мыслей сбежало туловище; нет теперь у бедняка кулаков, чтоб отстоять себя от пощечин, щекотания в носу и иных обид; единственное оставшееся ему средство защиты — ругань.

Бертольд заметил, что все это говорилось не в шутку, не для пустой забавы праздных зевак: душа, омраченная скорбью, находила себе облегчение в иронии, которая рождается из внутреннего раздора личности с собою самой. Ясная и гармоничная душа Бертольда не выдержала этого зрелища; он ушел в корчму, выбрал в саду уединенное местечко и велел подать себе скромный ужин.

Скоро послышался издали грохот барабана, трели флейты и звон треугольника. Толпа хлынула в корчму; представление кончилось.

Бертольд собирался уходить, когда вдруг, с громким восклицанием: „Бертольд, брат мой, друг сердечный!" бросился к нему полусумасшедший кукольный комедиант. Он сорвал с головы парик и проворно стер с лица жирный грим. Бертольд остолбенел от удивления.

— Как? Георг! Ты ли это? — выговорил он наконец с усилием.

— Что с тобой? Ты не узнаешь меня? — удивлялся Габерланд.

Бертольд заявил, что если верить в привидения, то, конечно, друг его стоит самолично перед ним; но как это возможно разгадать он не в силах.

— Разве ты, — продолжал Бертольд, — как мы и условились не прибыл в Гоэнфли? Разве я не встретил тебя там? Разве не пережил ты страшного приключения с таинственною гадальщицей в гостинице Золотого Козла? Не воспользовались ли неизвестные лица твоею помощью, чтобы увезти женщину, которую сам ты называл Наталией? Не был ли ты

тяжело ранен выстрелом из пистолета в лесу? Не расстался ли я с тобой в тоске и тревоге, когда ты лежал в своей комнате без сил и едва не при смерти? Разве ты не говорил о непонятном, необыкновенном событии, о каком-то графе фон Целиес?

— Остановись, ты пронзаешь мне душу раскаленным острием! вскрикнул Георг с содроганием невыносимой боли, и потом прибавил спокойнее: да, брат Бертольд, сомнения нет, — слишком очевидно, что есть мое другое я, — двойник меня преследующий, чтобы отнять у меня обманом мою жизнь, — похитить у меня Наталию!

В немом отчаяньи опустился Георг на скамью из дерна. Бертольд сел подле него и, крепко пожимая его руку, стал напевать ему тихим голосом его же слова:

Ты найдешь в участьи друга
Боль сердечного недуга
Умягчающий бальзам!..

Из глаз Георга струились слезы. Отирая их, он сказал:

— Я понимаю тебя вполне, милый брат мой Бертольд! Неправ я был перед тобой, таясь от тебя, не открыв тебе уже давно — всего, всего!.. Что я влюблен, догадаться, конечно, было нетрудно. История этой любви — такая простая, избитая история, что ты мог бы найти подобную в любом глупейшем романе. Я — художник, и нет ничего обыкновеннее страстной влюбленности художника в хорошенькую девушку, с которой он начал писать портрет. Так, в самом деле, и со мной случилось, когда живучи в Страсбурге я с сугубым рвением занялся своею доходною кондитерской, — ты знаешь, что я разумею под кондитерских дел ремеслом, писание на заказ портретов. Я приобрел там славу портретиста незаурядного, чьи миниатюры вверх изящества, а в рассуждении сходства вернее зеркала. Престарелая начальница одного пансиона для девиц поручила мне изготовить портрет одной из ее воспитанниц, предназначаемый в подарок отцу, живущему в дальних странах. Я увидел, я начал писать Наталию, — о вечные силы! Судьба жизни моей была решена!.. Ну не правда ли, брат Бертольд, ведь ничего нет во всем этом особенного?.. Но слушай дальше, кое-что все-таки быть может примеча-

тельно... Видишь ли, с раннего детства неотступно грезился мне и снился образ небесной женщины; ему отдавал я все свои детские восторги, все обожание. Первые неумелые опыты моей отроческой кисти являют в замысле тот же идеальный образ, что и более совершенные полотна созревшего дарования. Этот образ — был — Наталия!.. Чудесно это, Бертольд! И я должен прибавить, что искра меня воспламенившая, запала и в грудь Наталии, что мы тайком встречались наедине... О, рассеевшееся, как мгла и дым, блаженство любви! Приехал отец ее — граф Целиес, моя работа понравилась ему чрезвычайно; я получил приглашение писать портрет с него самого. Но когда граф увидел меня, он обнаружил необыкновенное волнение, мне показалось крайнее изумление; принялся расспрашивать меня с какой-то боязливою тревогой о всех обстоятельствах моей жизни и, наконец, скорее выкрикнул, нежели проговорил, — а глаза его так и горели, — что не желает, чтоб я его писал, хоть я и даровитейший художник, что мне должно ехать в Италию и притом сейчас же, безотлагательно, что он даст мне на поездку денег, если я в них нуждаюсь... Как? Уехать за тридевять земель? Расстаться с Наталией? Есть веревочные лестницы, подкупные дуэньи... мы устраивали тайные свидания... Она лежала в моих об'ятиях, когда в комнату вошел граф.

— „Ага, предчувствие меня не обмануло!“ вскричал он в ярости и ринулся на меня со стилетом в руке.

Уклонясь от удара, я бросился на него, сшиб его с ног и убежал невредим. На другой день он бесследно исчез вместе с Наталией... Случилось мне встретить старую цыганку, которую ты сегодня видел со мной. Она наплела столько сказочного о моей судьбе, что я хотел, не обращая на весь этот вздор никакого внимания, спокойно пройти мимо своей дорогой. Вдруг заговорила она тоном, пронзившим меня до глубины души:

—„Георг, любимое дитя мое, ужели ты забыл Наталию?“ Существует ли колдовство или нет, решать не берусь, — явно было одно: старуха знала о моем любовном союзе, знала доподлинно, как все случилось. Она уверила меня, что с ее помощью я добуду Наталию, и приказала мне в назначенный срок быть в Гоэнфли, где я ее встречу, хотя и в ином виде... Уволь меня, Бертольд, от пересказа всех подробностей! Грудь

моя горит... На меня мчится карета, — останавливается... приближаются всадники... „Господи, спаси“ — восклицает кто-то в карете... Узнаю голос Наталии... — „Спеши скорей“ — торопит другой голос... Всадники повернули в сторону... — „Опасность миновала“ говорю я, садясь в карету. В это мгновение раздается выстрел. Мы скачем. Сердце не обмануло меня: это — Наталия; с нею старая цыганка. Она сдержала слово.

— Счастливый Георг! — сказал Бертольд.

— Счастливый? — повторил Георг, разражаясь диким хохотом, — не успели мы из леса выехать, как были задержаны жандармами. Я выскочил из кареты, цыганка за мной; она схватила меня с нечеловеческой силой и поволокла в непроглядную глушь. Наталию мы потеряли. Я был вне себя. Цыганка сумела меня успокоить, внушить мне, что о сопротивлении и думать нечего, но еще не все надежды рухнули. Я слепо вверяюсь ей, и — как ты видел нас здесь — все это разыгрывается по ее замыслу, по ее совету; так мы укрываемся от преследований врага, ищущего меня убить.

В эту минуту подошла старая цыганка и закричала:

— Георг, горит светлячок: пора в дорогу за горы!..

Бертольду подумалось, что старуха морочит легковерного Георга хитрым кривлянием и, заманив его, не отпустит от себя, обращая в средство наживы его доброхотное скоморошество. С гневом обратился он к цыганке и об'явил, что будучи ближайшим другом юноши, не потерпит долее, чтобы тот губил себя и свое дарование, предаваясь постыдному бродяжничеству, в роли странствующего шута, что он увезет его в Италию, что он желает знать, наконец, какие права она имеет на его друга.

Старуха выпрямилась, в изменившихся чертах ее засветилось какое-то благородство, глаза сверкнули темным огнем; все ее явление дышало достоинством и величием; она промолвила твердым полнозвучным голосом:

— Ты спрашиваешь, какое право имею я на этого юношу? Я хорошо тебя знаю — ты резчик по меди Бертольд, ты его друг; а я — о, вечные силы! — я его мать.

С этими словами она порывисто обняла и прижала к своей груди Георга; но тотчас же, вся задыхаясь, судорожно оттолкнула его от себя, глядя в сторону, — наконец, в изнеможении,

почти в обмороке, опустилась на скамью и, закрыв лицо плащом, взвизгнула:

— Не гляди на меня так пристально, Георг, его глазами! Ты мне вечный живой укор в моем преступлении! Прочь! Прочь!

— Мать!.. — вскричал Георг, упав перед ней на колени. Она опять привлекла его к себе, охватила его шею руками, прильнула к нему и, — бессильная проронить слово — только глубоко вздохнула на его груди.

Казалось она погружается в сон. Но через минуту пересилила изнеможение, поднялась, шатаясь, на ноги и, опять обернувшись цыганкою, прохрипела:

— Георг, горит светлячок: в дорогу пора, за горы!..

Медленно выступила она вперед. Георг молча обнял друга, Бертольд онемел от изумления, смешанного с ужасом...

Вскоре заслышал он бой барабана, свист дудки и металлическое позвякивание, жуткое пение, крик осла, обезьянью пискотню и веселый гомон провожающей комедиантов толпы, пока все не слилось в один смутный гул и не замерло в отдалении.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лесники, рыща по лесу ранним утром, нашли молодого Деодата Швенди, лежащим на земле, без чувств в луже крови. Запас водки, оказавшийся в их охотничьих флягах, был пущен в дело, чтобы вернуть полумертвому сознание; они перевязали ему как умели рану, положили его на телегу и отвезли в город в гостиницу Серебряного Ягненка.

Пуля только задела грудь, вызвав обильное кровоизлияние, но не проникла во внутренные органы, и хирург об'явил, что за жизнь юноши опасаться нечего, а полный упадок сил об'ясняется так же и пережитым испугом и действием ночного холода; сильные средства скоро поднимут больного на ноги.

Если бы Деодат не ощущал боли от раны, все необ'яснимое событие представлялось бы ему причудливым тяжелым сном. Ему казалось несомненным, что тайна, на которую в темных словах намекал ему отец, начала было уже разоблачаться, но какое-то враждебное существо этому воспрепятствовало и разбило его надежду. И кто ж иной мог быть этим враждебным существом, если не художник Георг Габерланд, так во всем подобный ему, что его повсюду с ним смешивали?

— А что, — спрашивал себя Деодат, — если Наталия, милый образ, грезившийся мне всю жизнь, всю жизнь мною предчувствуемый, принадлежит не мне, а ему, невидимому двойнику, моему другому я, — если он ее у меня похитил, — или вся любовь, вся тоска, вся надежда моей жизни останется навеки неисполненною?

Он терялся в сумрачных раздумиях; сгущались завесы грядущего; предчувствия не оправдывались, умирали упования; он убеждался, что только случай может раскрыть обставшие его тайны, — о, конечно, роковые и опасные, если отец его, старый Амедей Швенди, не дерзнул выдать их сыну!

Только что вышел хирург, больной лежал один в комнате, когда дверь ее тихо отворилась, и на пороге появился высокий человек, закутанный в плащ. Когда он откинул капюшон, Деодат тотчас узнал приезжего, впервые встретившегося с ним в сенях Золотого Козла, — и догадался, что незванный гость — никто иной, как вчерашний назойливый посетитель, оставивший ему непонятную записку, а именно — граф Гектор Целиес.

Деодат не ошибся.

Граф явно усиливался смягчить обычное недружелюбное выражение своих угрюмых и колючих глаз; он принуждал себя к учтивости.

— Вероятно, вы удивлены, видя меня здесь, господин Габерланд, — так начал он — но вы удивитесь еще больше, узнав цель моего прихода... Я здесь затем, чтобы предложить вам мир... Примирение... Если вы ставите условия...

Деодат прервал графа пылким уверением, что он вовсе не художник Георг Габерланд; это — злосчастная ошибка из-за которой он вовлекается в целый лабиринт необ'яснимых событий.

Упорно глядел ему в глаза граф, и в этом недвижном взгляде сквозила усмешка Мефистофеля.

— Но вы, — промолвил он, — почтеннейший господин Швенди, или почтеннейший господин Габерланд, или каким иным еще именем угодно вам именоваться, — хотели все же увезти Наталию?

— О, Наталия! — глубоко вздохнул Деодат.

— О! о! — сказал граф с ядовитой злобой: — так вы не на шутку влюблены в нее?

— Я люблю ее, — ответил Деодат, опускаясь в изнеможении на подушки, — люблю больше, чем жизнь свою! Она будет моей, она должна быть моей; глубоко в моем сердце горит эта надежда, эта тоска по ней.

— Какая неслыханная дерзость! — вспыхнул граф бешеным гневом, — эх, коли бы выстрел...

Он сдержался и не договорил фразы. Неимоверных усилий стоило ему подавить свою ярость. Несколько мгновений безмолвствовал он; наконец, с принужденным спокойствием, сказал:

— Если я щажу вас, вы обязаны этим вашей болезни. При других обстоятельствах я бы заставил вас уважать мои

права, вами нарушаемые. Но я требую, чтобы вы немедленно ответили мне, как могло случиться, что здесь, в Гоэнфли, вы видели Наталию?

Тон графа рассердил Деодата. Преодолевая телесную слабость, он выпрямился на своем ложе и мужественно проговорил твердым голосом:

— Притязания, вами пред'явленные, понимаются вами, очевидно, как право на бесстыдную наглость, с какою вы вторгаетесь в мою комнату, чтобы досаждать мне вопросами, на которые я отвечать не могу. Вы совершенно неизвестное мне лицо, я никогда не имел с вами дела, а эта Наталия, о которой вы говорите, — знаете ли вы прежде всего, что она — небесное видение, живущее в моем сердце? Ни в Гоэнфли, ни в другом каком месте не видали ее мои земные глаза... Но с вами говорить о тайнах ревниво хранимых мною, в святыне моего внутреннего существа, — кощунство!

Граф, казалось, был удивлен; в его душе боролись сомнения: губы его бормотали едва слышно:

— Будто бы никогда вы не видели Наталию? А когда вы писали с нее портрет?.. А что, если этот Габерланд, этот Швенди...

— Довольно! — воскликнул Деодат: уйдите вон!.. Прочь, мрачный дух, которого натравливает на меня безумная ошибка и толкает покушаться на мою жизнь!.. Есть законы, ограждающие граждан от коварных нападений из-за угла. Вы понимаете меня, граф?

Деодат сильно дернул звонок. Граф закусил губы и смерил Деодата страшным взглядом.

— Осторожнее, мальчик! — сказал он наконец: лицо у тебя несчастливое, — берегись, не мне одному, а, пожалуй, и другому кому оно придется не по сердцу.

Дверь отворилась: в комнату вступил весьма пожилой и, при небольшом росте, излишне-наклонный к тучности, господин с золотой табакеркой, уже известный благосклонному читателю, как член Высокого Совета города Гоэнфли; благосклонный читатель встретился с ним за обеденным столом Золотого Козла и слушал его рассуждения, свидетельствовавшие о редком уме советника.

Граф, бешенно пригрозив Деодату, без слов бросился вон из комнаты. Его движения были так резки и яростны,

что маленький советник и его свита казались на мгновение ошеломленными. Свиту же советника составляли карлик-горбун с кипою бумаг под мышкой и два советских служителя, вытянувшиеся у дверей на караул.

Советник приветствовал лежащего сухим должностным поклоном; уродец, напрягая все силы, приволок поближе к больному стол, разложил по столу бумаги, вынул из кармана письменные принадлежности, вскарабкался на стул, пододвинутый с таким же трудом, и изготовился писать, между тем как советник опустился в кресло у самой постели и уставился на Деодата широко раскрытыми глазами.

Деодат с нетерпением ожидал, чем все это кончится. Патетически начал советник свою речь:

— Почтеннейший господин Габерланд, или почтеннейший господин Швенди — ибо, милостивый государь мой, лежащий предо мной в постели, вам благоугодно носить два имени за раз, хотя таковой роскоши бдительная власть дозволить не может! Надеюсь я, так как Высокий Совет города Гоэнфли обо всем уже достаточно осведомлен, — что вы не захотите удлиннять ваш арест бесполезной ложью, запирательством, уловками и увиливанием. Ибо вы уже в эту самую минуту находитесь под караулом, что явствует, между прочим, и из присутствия на вверенном им посту двух верных и почтенных стражей Городского Совета.

Деодат удивленно спросил, в каком же преступлении он обвиняется, и какое право имеет Совет содержать под стражей проезжего иноземца.

Тогда советник об'яснил ему, что он тяжко преступил против недавно-изданного всемилостивейшим владетельным князем и всея страны повелителем указа о дуэлях, своевольно вступив в поединок в прилежащем городу лесу, чему достаточной уликой служат найденные в его дорожной сумке пистолеты. Без проволочек надлежит ему ныне назвать дерзновенного сообщника поединка, а равно и секундантов, ежели таковые на дуэли присутствовали, и вообще рассказать толком все с самого начала.

В ответ Деодат с большим спокойствием и твердостью показал, что в сем случае речь должна идти не о поединке, а о коварном покушении исподтишка на его жизнь. Одно происшествие, непонятное самому и еще менее могущее

быть понятным Высокому Совету, привело его в лес помимо его воли и умысла. Опасная угроза незнакомого ему преследователя — вот причина, почему он вышел за город вооруженным; и Высокий Совет правильнее выполнил бы свою обязанность опекать общественную тишину и порядок, приняв меры к розыску и поимке коварного убийцы, чем наряжая ненужное следствие и сажая под арест жертву покушения, на основании произвольных догадок.

На этом и уперся Деодат, какие вопросы ни задавал ему советник, и взамен требуемых биографических справок, представил просто на просто свой паспорт: доколе не возбуждено подозрение в подлинности последнего, он-де достаточен, ибо содержит все необходимые для Городского Совета сведения.

Советник вытирал себе лоб от напряжения. Горбун уже не раз обмакивал в чернила и опять отряхивал огромное гусиное перо, бросая на советника взоры, полные вожделения писать. Но советник не находил подходящих слов для составления бумаги. Тогда писец принялся за дело сам и прочел начертанное им вступление пронзительным голосом:

— „Протокол. Гоэнфли, такого-то числа, месяца и года. По повелению Городского Высокого Совета, нижеподписавшийся депутат“...

— Так, милейший! — воскликнул советник, — так мой певчий дрозд, так небесный письмоводитель, — совершенно правильно: нижеподписавшийся депутат, — депутат — это я сам, — депутат...

Было решено в небесном совете, чтобы нижеподписавшийся депутат так и не подписался под недописанным протоколом, а Деодат, словно по щучьему веленью, избавился от кляузнической волокиты.

В комнату внезапно вошел офицер княжеской лейб-гвардии в сопровождении хозяина, который на его вопрос засвидетельствовал, что больной подлинно тот самый молодой человек, что накануне ночью был ранен в лесу. После чего, подошед к постели Деодата, офицер скромно и вежливо заявил, что он получил от владетельного князя приказание немедленно доставить господина Георга Габерланда в княжеский дворец в Зонзице. Он надеется, что состояние его здоровья не составит препятствия исполнению высочайшей воли; впрочем приняты все меры предосторожности, дабы

Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина

переезд не отозвался неблагоприятно на его здоровьи, и лейб-хирург князя будет находиться при больном неотступно.

Советник, уволенный от исполнения тяжкой повинности, уже неоднократно увлажнявшей чело его обильной испариной, приблизился с лицом, просиявшим, как солнце, к офицеру, и вопросил с заискивающим поклоном, не надлежит ли заковать арестанта ради вящей безопасности, в кандалы. Офицер взглянул на него с изумлением и спросил с своей стороны, не сошел ли советник с ума и кого под арестантом разуметь изволит. Князь желает лично переговорить с господином Габерландом, чтобы разузнать все подробности происшествия, повергшего его в гнев. Князь не постигает, как в его стране у самых ворот Гоэнфли, коварный душегуб, нападающий из за угла, покушаться смеет на жизнь мирных граждан; повидимому, начальство, опекающее общественную безопасность, будет привлечено князем к строгой ответственности.

Можно себе представить, как потрясли эти слова душевный и телесный состав толстого советника; писец же мгновенно скатился со стула и визгливо причитал в ногах у офицера, что он ни в чем не повинный ничтожный канцелярист, которого бы со света давно стерли, если бы он осмелился вслух выговаривать грызущие его сомнения в государственной мудрости Высокого Совета.

Деодат, во избежание дальнейших ошибок и заблуждений, постарался уверить офицера, что он отнюдь не художник Габерланд, с которым только видом схож, как две капли воды, что имя его Деодат Швенди и приехал он из Швейцарии, чему достовернейшие доказательства тут же представить может. Офицер предупредительно успокоил его, что дело вовсе не в имени, но князь желает видеть именно того молодого человека, который был ранен в лесу. Тогда Деодат сказал, что коли так, то речь идет именно о нем, и ни о ком другом, и что будучи лишь легко ранен, он чувствует себя достаточно сильным для поездки в Зонзиц, То же подтвердил и княжеский хирург; Деодат тотчас был перенесен в самую удобную из дорожных карет князя, и добрые лошади помчали его по дороге в Зонзиц.

На весь город напала оторопь, когда Деодат катил по улицам Гоэнфли; диву давались жители: слыхано ли было дело, чтобы князь увозил к себе в Зонзиц приезжего? Но

еще больше, быть может, ошеломило всех зрелище внезапного примирения столько лет враждовавших друг с другом трактирщиков Золотого Козла и Серебряного Ягненка: полюбоваться стоило, как сидели они теперь рядышком на улице, на так называемом „Широком Камне“, и дружественно беседовали, даже перешептывались о чем-то время от времени на-ухо, свидетельствуя тем сугубое взаимное доверие.

Благосклонный читатель осведомлен о причинах этого примирения. Но еще живей сблизило в тот день соседей и сватов общее жгучее, равно обоих снедающее любопытство: кто же такой этот загадочный гость, их общий постоялец и нахлебник, виновник такого переполоха, герой столь необыкновенных приключений.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На крыльях бури умчалась гроза, отбушевав, за горы, и лишь далеко, далеко еще ворчал сердито гром. Заходящее солнце глядело огненным глазом, сквозь темные заросли, которые, отрясая с листвы тысячи сверкающих хрустальных капель, сладострастно купались в волнах теплого вечернего воздуха.

Посреди широкой бархатной луговины, в уже знакомом благосклонному читателю парке княжеской резиденции, стоял властительный князь, скрестив на груди руки, как вкопанный, и смотрел в лазурь безоблачного неба, словно молил небо вернуть ему исчезнувшие надежды, жизнь, загубленную горем и горечью обиды. Из кустов вышел офицер, посланный князем в Гоэнфли. С нетерпением подозвал его князь кивком головы и, выслушав доклад о прибытии молодого человека, приказал немедленно доставить его на это самое место, хотя бы пришлось нести больного на носилках.

Приказание было исполнено. Окинув Деодата быстрым взглядом, князь проявил сильнейшее волнение и невольно проронил:

— Боже!.. Предчувствие мое!.. Да, это он!..

Деодат медленно поднялся и хотел подойти к князю с почтительным поклоном. Но тот вскричал:

— Не вставайте, лежите! Вы слабы, изнурены, ваша рана, быть может, опаснее, чем вам кажется; мое любопытство не должно быть вам во вред. Пару спокойных кресел сюда!

Все это говорил князь вполголоса, отрывисто; было заметно, что он хочет справиться с бурей, разбушевавшейся в его груди.

Кресла были принесены; Деодат, по указанию князя, сел в одно из них, все удалились, — а князь все еще ходил крупными шагами взад и вперед. Наконец, он остановился перед Деодатом, и во взоре, каким он оглянул его, с живейшей вы-

разительностью сказалась вся истерзавшая его душу боль, вся глубочайшая скорбь, его снедающая. Через мгновение, казалось, все опять сгорело в пожаре безудержно запылавшего гнева. Словно какая-то невидимая, недобрая сила встала вдруг между ним и Деодатом, — и с ужасом, почти отвращением князь отскочил от юноши и опять заходил, забегал взад и вперед, бросая на него время от времени исподтишка беглые взгляды, а удивление Деодата росло с каждым мгновением;— он недоумевал, чем кончится эта сцена, болезненно щемившая его сердце.

Наконец, князь повидимому свыкся с его присутствием, отодвинул свое кресло немного в сторону от кресла Деодата и опустился в него почти без сил. Потом проговорил заглушенным, почти мягким голосом:

— Вы чужеземец, милостивый государь, в мою страну заехали вы путешественником. „Какое дело владетельному князю, через земельку которого лежит мой путь, до обстоятельств моей жизни?“ — так можете вы подумать, — но есть, быть может, вам самому неизвестная связь, есть таинственные соотношения... Впрочем, довольно! Даю вам свое княжеское слово, что меня побуждает к этим расспросам не пустое ребяческое любопытство, не какой-либо дурной нечистый умысел, но... я хочу, я должен знать все!

Последние слова выкрикнул князь с гневным жаром, привскочив с кресла. Но, тотчас опомнившись и овладев собой, он опять сел спокойно и продолжал с прежней мягкостью:

— Подарите мне все ваше доверие, молодой человек, не умалчивайте передо мной ни об одном из обстоятельств вашей жизни, скажите мне особливо откуда вы и как вы попали в Гоэнфли, и то, что случилось с вами в Гоэнфли, как относится оно к прежним событиям, вами пережитым? Я желал бы притом в точности знать, что было между вами и той вещей...

Князь на мгновение замялся потом продолжал, словно сам себя успокаивая:

— Все это, конечно, нелепость, чистое безумие... Но все же или исчадье ада это марево, это навождение — или... Но говорите же, молодой человек, говорите все открыто, свободно, прямо,—чтобы не было в ваших словах никакой утайки, никакой л...

Князь опять было забылся в приступе гнева, но тотчас взял себя в руки и не произнес слова, которое было готово сорваться у него с языка.

Деодат догадывался по волнению, обуревавшему князя и тщетно им подавляемому, что речь идет для него о тайнах, с ним лично связанных и кажущихся ему, по тем или другим причинам, чреватыми роковою угрозой. С своей стороны, молодой человек не находил оснований отказать князю в полной откровенности, какой тот от него требовал, — и начал рассказывать о своем отце, детстве и ранней юности, об уединенном житье своем в Швейцарии. Он упомянул, далее, о том, как отец послал его в Гоэнфли, намекнув ему в загадочных словах, что там подойдет он к перепутью, где решится все его будущее, — что там почувствует себя призванным к действию, которое определит всю его судьбу. Правдиво пересказал он, наконец, свои приключения в Гоэнфли с вещей женщиной и графом.

Несколько раз князь обнаруживал живейшее изумление. Мало того, в явном страхе привскочил он и затрясся, когда услышал имена Наталии и графа Гектора Целиеса.

Деодат умолк. Князь, опустив голову, погрузился в глубокое раздумие. Вдруг он встал, ринулся к Деодату и вскричал:

— Злодей! В это сердце метил он проклятою пулею, отнять хотел у меня последнюю надежду, — убить тебя хотел он, — тебя, мой...

Рыдание заглушило слова князя; пронзенный тоскою и болью, бросился он Деодату на шею, бурно прижал его к своей груди...

И вдруг, как прежде, отпрянул назад в ужасе и воскликнул, протянув вперед сжатый кулак:

— Прочь, прочь, змея, замышлявшая угнездиться в моей груди! Прочь, дьявольское навождение! Тебе не удастся убить мою надежду, смутить и обратить в безумие мою жизнь!

Глухой, страшно далекий голос проговорил где-то:

— Надежда—смерть. Жизнь—темных сил жестокая игра.

Черный ворон вспорхнул, каркая над зарослью и пропал в кустах.

Князь упал наземь без чувств.

Деодат был так слаб, что не мог подоспеть к нему вовремя; он стал громко звать на помощь.

Лейб-медик нашел, что князя разбил удар; что он при смерти и оправится ли неизвестно. Деодат сам не понимал того несказанного болезненного чувства, того глубочайшего участия, какое втеснилось в его грудь. Он стал на колени перед носилками, на которые положили князя, целовал его безжизненно повисшую руку, обливал ее горячими слезами. Князь очнулся, остекляневшие глаза его оживились, опять могли видеть. Он взглянул на Деодата, нетерпеливо дернул головой, как бы повелевая ему отойти, губы дрогнули и едва внятно прошептали:

— Прочь... Прочь...

Деодат, потрясенный сценою, врезавшеюся в самую глубь его нравственного существа, ощущал себя близким к обмороку. Лейб-медик признал и его состояние настолько тревожным, что возвращение в Гоэнфли было бы неосторожностью.

— Правда, во исполнение княжеской воли молодой человек должен быть удален,— говорил лейб-медик: но его можно было бы на первое время поместить в отдаленном флигеле, и нет опасности, чтобы князь, которому, во всяком случае, еще долго нельзя будет покидать своей комнаты, узнал о его пребывании на вилле.

Деодат, обессиленный до полного истощения, не был способен ни к какому решению воли, ни к какому сопротивлению. Он безучастно согласился остаться в княжеском доме.

Если и без того на вилле царила унылая тишина, то вследствие болезни князя тишина эта стала могильною; и только по молчаливому появлению служителя, приходившего на зов, да по посещениям врача, Деодат замечал, что в этих покоях и садах живут другие люди, кроме него. Монастырское уединение было, однако, благотворно, как отдых душе, пережившей столько бурь; княжеская вилла казалась Деодату убежищем, куда он спасся от грозной тайны, отовсюду охватившей его как сеть.

К тому же простая, безыскусственная, но уютная обстановка обеих комнат, отведенных Деодату, особенно же великолепный вид, открывавшийся из окон, придавал этому убежищу необычайную прелесть, ту спокойную приятность, в какой нуждается омраченный жизнью, утративший прежнюю ясность дух. Деодат мог обозревать из своей кельи красивейшую часть парка, на окраине которого подымался холм с живописными

развалинами старинного замка; за развалинами голубел вырез далекого горного хребта.

Как только на душе у больного стало поспокойнее, и врач позволил ему присесть за письменный стол, он воспользовался своим досугом, чтобы подробно изложить в письме старику-отцу, все что с ним дотоле приключилось. Он заклинал отца не молчать долее о скрытом смысле событий, встретивших его в Гоэнфли, помочь ему уразуметь свое положение, не оставлять его безоружным по неведению в борьбе с кознями тайных врагов.

От старинного разрушенного замка, на руины которого Деодат любовался, сохранилась почти неповрежденная малая часть, принадлежавшая к главному зданию. Она рисовалась очертаниями выступающей над нижним этажем, в виде крытого балкона угловой башни, — и, так как с другой стороны стена рухнула, этот выступ над обрывом холма казался висящим в воздухе ласточкиным гнездом. В подзорную трубу можно было разглядеть, что весь он оброс кустарником, пробившимся сквозь расщелины стен, и эта густая поросль образовала красивый зеленый навес. „Хорошо было бы там поселиться," — думал Деодат,— „только взобраться туда нельзя: все лестницы наверно, давно обрушились". Тем живее было его удивление, когда однажды ночью выглянув в окно, он заметил в висячем выступе свет, теплившийся целый час. В следующие затем ночи повторилось то же самое: юноша, окруженный со всех сторон тайнами, почуял в этом новом странном обстоятельстве нечто роковое.

Он рассказал о своем наблюдении врачу; этот нашел, что появление света в развалинах может быть об'яснено простыми естественными причинами. В нижнем этаже сохранившегося здания несколько зал отделаны, — в них живет лесничий, дозирающий за княжеским парком; и хотя сам он убедился из осмотра руин, что доступ наверх сопряжен, по крайней мере с огромною опасностью, все же возможно, что молодые егеря как-нибудь ухитрились забраться в ласточкино гнездо, чтобы гулять себе там без помехи.

Деодат не удовлетворился этим об'яснением; он живо предчувствовал, что в развалинах замка укрылась какая-то тайна.

Наконец, врач разрешил ему пройтись в сумерки по парку, строго наказав, однако, избегать мест, видимых из окон княжеской комнаты.

Здоровье князя настолько поправилось, что он уже в силах был садиться у окна и обозревать парк; его острый взгляд тотчас приметил бы Деодата, что кончилось бы немедленной его высылкой. По крайней мере врач считал себя вынужденным предполагать гнев князя, судя по виду, с каким в тот день он отстранил от себя юношу.

Вырвавшись на волю. Деодат тотчас направился к развалинам. Там встретил он лесничего, до чрезвычайности изумленного его появлением. Когда Деодат пространно из'яснил ему, как он туда попал, лесничий весьма откровенно заметил, что господа приютившие его в княжеской вилле без ведома князя ведут опасную игру: узнай об этом князь, он велит первым долгом вышвырнуть за ворота молодого барина, а потом и его покровителей.

Деодат пожелал осмотреть внутреннюю уцелевшую часть замка; лесничий ответил сухим отказом, ссылаясь на то, что на каждом шагу в расселинах может обвалиться подгнившая балка с потолка, или даже целая стена; кроме того, лестница так обветшала, что ни за одну ступень не поручишься, того и гляди—сломаешь себе шею. Деодат возразил, что он видел, однако, в угловой башне свет. Отповедь была уже прямо груба и враждебна: молодой барин говорит вздор и глупости; знал бы он лучше свое дело, а не подсматривал за тем, что до него не касается; он еще Бога должен благодарить, если люди его жалеют и князю не доносят про его ослушание воле княжеской.

Деодат заметил, что под рассчитанною грубостью лесничий прячет смущение и растерянность. Скоро его догадка, что с руинами связана какая-то тайна, нашла новое подтверждение: проходя по двору замка, в едва приметном углу стены открыл он новую деревянную лесенку, ведущую, повидимому, в верхний этаж главного здания.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Болезнь князя, благополучный исход коей становился со дня на день все более и более сомнительным, вызывала не малое смущение, немалую тревогу. Благосклонный читатель осведомлен о давнем и бесследном исчезновении супруги властителя вместе с рожденным ею ребенком. За отсутствием наследника, престол должен был перейти к младшему брату Ремигия; но этот законный преемник был ненавистен придворным и народу своим высокомерием и порочными наклонностями, которым он предавался с наглым бесстыдством. Глухая молва обвиняла его в злодейской измене венценосному брату: вот отчего,—прибавляли,— вынужден был он бежать из пределов княжества, и никому не ведомо, где он скрывается.

Обыватели Гоэнфли ломали себе голову, что же будет по смерти князя; дрожали при мысли о тирании его брата и от души желали, чтобы труп его и взаправду,—как однажды пронесся слух,—лежал на дне морском.

За обеденным столом в гостинице Золотого Козла немало велось разговоров об этом предмете. Каждый судил и рядил по-своему. Приговор знакомого нам советника был таков: Высокий Совет города мог бы временно, до окончательного выяснения вопроса о престолонаследии, принять на себя и управление всею страной. Один старик, долго безмолвствовавший с видом задумчивым и сосредоточенным, вдруг заговорил глубоко растроганный:

— Какие жестокие бедствия обрушиваются на злополучный наш край! Доброго, превосходного князя постигает неслыханный рок; он отнимает у него всю радость жизни, похищает душевный покой; смерть, наконец, разрешает страдальца от долгих мучений... Власть переходит к преемнику, от которого можно опасаться всего на свете, — и единственный человек, который постоял бы за нас—непоколебимый как скала среди

волн, — тот кто был оплотом нашим и спасением, — этот человек пропал без вести!

Всякий знал, что старик разумеет никого иного, как графа Терни, удалившегося от двора вскоре по исчезновении княгини.

Граф Терни был во всех отношениях человеком незаурядным. С умом острым и зорким, с тою свободною гениальностью, которая внушает деятелю верный такт в избрании целей действия, правую волю и с нею действенную силу, — он сочетал благородство души, живую отзывчивость всему доброму и прекрасному. Он был заступником угнетенного, неумолимым преследователем угнетателя. Понятно, что граф стяжал себе не только любовь князя, но и любовь народа. Мало было людей, не стыдившихся верить сплетне, будто он виновник разрухи княжеского дома; известно было, что эту клевету старался посеять брат князя, ненавидящий графа всей душой...

Сидевшие за обеденным столом в один голос воскликнули:

— Граф Терни! Наш благородный Терни! Будь он только здесь, с нами, в эти крутые времена!

Пили за здровье графа. И опять мысли беседующих обратились к болезни владетельного князя, приведшей его на край могилы. А как разговор зашел о его опасном состоянии, естественно было вспомнить и о том молодом человеке, в присутствии которого князь занемог.

Умный советник подозревал уголовщину. Ему казалось очевидным, что молодой проходимец безумно покусившийся обмануть бдительность Городского Высокого Совета, присвоением себе двух различных имен, — высокого полета злоумышленник, преследующий преступные цели. Не напрасно, по теории советника, приказал князь, доставить его в Зонзиц, и из Зонзица к себе на пригородную виллу: он хотел самолично допросить его во всех его адских умыслах. Вежливое обхождение офицера, удобная карета, лейб-хирург — все это было притворством, военной хитростью, маской, чтобы накрыть молодца врасплох, в минуту веселой беспечности, и вырвать у него нечаянное полное признание. И, конечно, князю удалось бы доподлинно у него выпытать, если бы под влиянием вечерней сырости не случился с князем удар, и преступник, воспользовавшись суматохой, не спасся бегством. Советник желал бы, чтобы пройдоха отважился опять показаться в Гоэнфли: на сей

раз не ускользнуть ему безнаказанно из рук Городского Высокого Совета.

При этих словах советника в залу вошел молодой человек, о котором шла речь, молча и серьезно поклонился обществу и сел за обеденный стол.

— Добро пожаловать, почтеннейший господин Габерланд!— сказал хозяин не склонный глядеть на происшедшее глазами советника,—добро пожаловать. Ну, вам, конечно, нечего бояться, хорошо ли вас примут в Гоэнфли?

Молодой человек, казалось, был удивлен своеобразным приветствием трактирщика. Между тем маленький толстый советник принял осанистый вид и патетически начал:

— Милостивый государь, сим об'являю вам...

Но тут молодой человек столь остро и пристально глянул ему прямо в глаза, что советник осекся и невольно пробормотал сквозь зубы с поклоном:

— Ваш покорнейший слуга!

Не замечал ли благосклонный читатель, что есть люди, которые, если взглянуть им прямо в глаза, немедленно кланяются, словно они в чем-то провинились и смиренно признают свою вину?

Молодой человек ел и пил, не говоря ни слова. Грозовое, полное ожидания безмолвие воцарилось за обеденным столом.

Наконец, старик, напомнивший давеча о графе Терни, осведомился у молодого человека, успешно ли залечена грудная рана, причиненная ему выстрелом в лесу близ Гоэнфли. Молодой человек отвечал, что его видимо принимают за другое лицо: он никогда не был ранен в грудь.

— Я понимаю,—продолжал старик с лукавой улыбкой,— я понимаю, господин Габерланд, что ваше здоровье поправилось, и вам неохота вспоминать о неприятном происшествии. Но так как князя постиг удар на ваших глазах, то вы лучше всякого другого могли бы рассказать нам, как все случилось, и в какой мере недуг князя внушает надежду на выздоровление или, напротив, — страх?

Молодой человек опять возразил, что вопрос основан на том же заблуждении, что он никогда не бывал в Зонзице и в глаза не видал князя Ремигия. Впрочем, он слышал, что князь хворает, и хотел бы иметь о состоянии его здоровья более обстоятельные сведения.

— Может быть, — заметил старик, — господин Габерланд не желает или не имеет права говорить о своем свидании с князем; может быть, молва исказила многое в действительной истории этой встречи; достоверно, во всяком случае, что князь велел перевезти к себе в Зонзиц молодого человека, раненого в Гоэнфли, — а этот молодой человек все-же никто иной, как господин Габерланд, — и что во время беседы с ним наедине князя разбил паралич. Стоявшие вдалеке служители слышали при этом чей-то странный глухой голос, выкликнувший слова: „Надежда — смерть; жизнь — темных сил жестокая игра...“

Молодой человек тяжко вздохнул, побледнел, — все обличало его глубокую взволнованность. Он осушил одним духом несколько стаканов вина, заказал другую бутылку и удалился из залы. Обед кончился; молодой человек не возвращался. Привратник видел, что вышед на улицу, он спешно направился к Нейдорфским воротам. Плата за обед лежала у его прибора.

Советник воспылал неукротимым должностным рвением, говорил о полицейской погоне, сыскных и тому подобном.

Старик напомнил ему один хорошо ему известный случай, когда советник, исходя из таких же соображений, несвоевременно проявил излишнюю распорядительность, а высшее начальство натянуло ему нос,—и полагал что лучше всего забыть о молодом человеке и не ворошить попусту темного дела.

Общество присоединилось к этому мнению, и советник решил предоставить все на волю судьбы.

Между тем как это происходило в Гоэнфли, двойник Габерланда, молодой Деодат Швенди, был завлечен в Зонзице в новый очарованный круг опасных приключений.

С волшебною силой влекло его в развалины замка. Когда однажды в густые сумерки, стоял он перед загадочным висячим выступом угловой башни и глядел вверх на темные окна, с необ'яснимою ему самому тоской желания, — ему почудилось, будто мелькнул в окне чей-то образ в белом, и в то же мгновение упал к его ногам камешек. Он поднял его: камешек был завернут в бумагу; на бумаге бледно начертанные карандашом, с трудом разобрал он следующие строки:

— „Георг! мой Георг! Правда ли это, или меня обманывают возбужденные мои чувства?.. Ты — здесь? Силы

небесные!.. В этих полуразрушенных стенах засел отец, как в засаде, — ах, зло умышляет он! Беги, Георг, беги, прежде чем не настиг тебя гнев отца!.. Но — нет, останься еще! Я должна тебя видеть! Единый миг блаженства, — и тогда беги!.. До полуночи отца нет, — приходи! Через двор по деревянной лестнице... Нет, нет, нельзя! Если бы даже спали егеря лесничего, собаки не спят, подымут лай. С южной стороны есть другая лестница, ведущая в комнаты; но она подгнила и почти развалилась. Не отваживайся подыматься по ней, — я сама сойду вниз... О, Георг! бессильны все козни ада против любящего сердца! Наталия твоя, — твоя навек!..

— Это она! — воскликнул Деодат, вне себя: сомнения нет, это она, греза отрока, страсть юноши!.. К ней, — с тем, чтобы никогда более не покидать ее! Темная тайна отца — воссиять должна лучезарным солнцем!.. Но — я ли это, кого она любит? Я ли ее Георг?

Убийственною судорогой сжала грудь юноши мысль, что не он, а его загадочный двойник любим Наталией, что не встречею с ним она счастлива а заблуждением, будто опять нашла того, невидимого. И все же, — настойчиво говорило в глубине его сердца пылкою желание, — быть может, обманывает ее вовсе не он, а напротив, его двойник, — быть может, именно ему, ему одному, и никак не тому принадлежит ее любовь. — с ним, а не с тем связывают ее таинственные узы?.. Туда, к ней!..

С наступлением ночи Деодат просколзнул из своих комнат в парк. Неподолеку от виллы заслышал он тихо переговаривающиеся голоса и спрятался, пригнувшись в кустах. Мимо прошли двое мужчин, закутанных в плащи.

— Итак, — говорил один, — болезнь может еще надолго затянуться, судя по тому, что сказал сегодня лейб-медик?

— Точно так, ваше сиятельство! — отвечал другой.

— Ну, — продолжал первый, — придется прибегнуть к средствам...

Остального нельзя было расслышать. Деодат выпрямился: полный свет месяца падал на лицо говорившего, — Деодат с ужасом узнал графа Гектора Целиеса.

Содрогаясь при мысли, что, быть может, черное исчадие ада — убийство — подстерегает князя в потемках, и в тоже время гонимый непреодолимой силой горящей тоски, неуто-

лимого томления, — Деодат тайком пробрался вперед. При лунном свете нашел он на южной стороне замка развалившуюся лестницу; но был близок к отчаянию, когда поднявшись на несколько ступеней, убедился, что продвигаться дальше в непроницаемом мраке нет возможности. Вдруг, навстречу ему, блеснул из окон главного здания далекий свет. Кое-как, с опасностью оборваться на каждом шагу вниз, Деодат добрался до верху и вступил в высокую просторную залу. В ослепительной красоте и прелести стояло перед ним благодатное чудо его вещих снов.

— Наталия! — воскликнул он, бросаясь к ногам своей прекрасной возлюбленной.

Сладкозвучно пролепетала она: Мой Георг! — и обвила шею юноши руками. Не было слов! Взгляд и поцелуй — вот весь язык разбушевавшейся страсти.

В безумном порыве убийственной тревоги и сжигающего его грудь блаженства Деодат вскричал:

— Моя ты, моя, Наталия! Верь в мое я! Я знаю, двойник мой хотел рассечь твою грудь, но он поразил меня... Пустое! Это была только пуля. Рана зажила. Мое я — живо! Наталия, скажи мне, веришь ли ты в мое я? Иначе смерть унесет меня на твоих глазах... Не Георг — мое имя, но все же я сам — мое я и никто другой!

— Горе мне! — воскликнула Наталия, высвобождаясь из рук юноши: Георг, что ты говоришь?.. Нет, нет! Грозящий рок помутил твою мысль, привел тебя в исступление... Успокойся, будь всецело моим, Георг!

Наталия раскрыла об'ятия, Деодат обвил ее руками, прижимая ее к своей груди и восклицая громко:

— Да, Наталия, зто я, я — тот, кого ты любишь. Кто смеет, кто в силах низринуть меня с этих небес блаженства? Наталия, бежим, бежим!.. Прочь, чтобы не догнал тебя мой двойник! Не бойся ничего! Мое я его убьет.

В этот миг глухо послышались шаги, и в высоких покоях раздался зов:

— Наталия! Наталия!

— Уходи! — прошептала Наталия, толкая юношу к лестнице и вручая ему принесенную ею лампаду: вон отсюда иначе мы погибли, отец пришел... Приходи завтра в то же время — я уйду с тобой.

Почти без сознания Деодат спустился вниз: можно было бы назвать чудом, что он не упал и не разбился на-смерть, сбегая по обрушившимся ступеням. Внизу он потушил лампаду и бросил ее в кусты. Едва отошел он на несколько шагов, как был схвачен сзади двумя людьми, которые, подхватили его на руки и бросились с ним бежать к ожидавшей перед воротами парка карете. Деодата втолкнули в карету; лошади бешено поскакали.

Добрый час мчалась карета и, наконец, остановилась в непроглядно-густом лесу, у хижины угольщика. Люди с факелами в руках вышли из хижины и просили юношу выйти из экипажа; он повиновался.

Приблизился высокий, статный старик, и Деодат, с криком: „отец!“ — кинулся ему на шею,

Старый Амедей Швенди говорил:

— Из сетей коварства и злобы я спас тебя, из рук убийцы вырвал, сын мой. Скоро сокровенное раскроется; скоро взойдет как солнце счастье, какого ты и не чаял предчувствием сердца.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

A.L.

Чуть свет князь проснулся. Глубокий спокойный сон освежил его. Казалось, в болезни наступил перелом к лучшему. Нетерпеливо потребовал он лейб-медика и, к величайшему удивлению последнего, самым мягким тоном приказал привести к нему юношу, спрятанного, как ему хорошо известно, во флигеле виллы.

Лейб-медик хотел, в извинение своего самочинного образа действий, сослаться на состояние здоровья юноши, которое настоятельно требовало спокойствия и врачебного надзора; но князь прервал врача уверением, что поступок его не нуждается ни в каком оправдании: напротив, не зная того сам, доктор оказал ему, князю, величайшее благодеяние. Впрочем, о пребывании юноши на вилле ему доложено было только вчера — лесничим.

Но Деодат бесследно исчез; эта весть привела князя в заметное волнение.

С видимою душевною болью твердил он:

—Зачем же он убежал? Зачем убежал? Разве не знал он, что всякое ослепление кончается с жизнью?

По вызову князя явились председатель Государственного Совета и председатель Верховной Судебной Палаты с двумя советниками. Двери за ними замкнулись; на вилле шептались, что составляется духовное завещание.

На следующее утро глухой звон колоколов оповестил жителей резиденции о смерти князя. Он тихо скончался в ночь от второго удара.

Государственный Совет и представители высшей администрации собрались в замке. Предстояло снять печать с духовного завещания; предполагали, что в нем содержатся необходимые при отсутствии наследников распоряжения о порядке ведения государственных дел, по крайней мере на ближайшее время.

Перед самым началом торжественного акта, внезапно, словно по мановению волшебного жезла, вошел в залу пропавший без вести младший брат князя. Он об'явил, что отныне вся власть принадлежит ему, как княжескому преемнику, и что всякое распоряжение покойного, клонящееся к ограничению прав его на престолонаследие, должно быть признано недействительным; поэтому нет нужды спешить с обнародыванием последней воли усопшего.

Неожиданное появление князя Исидора явилось для всех необ'яснимой загадкой. Никто не подозревал, что он давно поселился в княжестве под чужим именем, под непроницаемою маской. Возраст естественно изменил его, грим и парик довершили превращение; никто его не узнавал. Еще менее мог бы кто-либо предположить, что за последнее время он выжидал смерти князя, прячась в его парке в старинных развалинах.

Имя графа Гектора Целиеса усвоил он с той самой поры, как покинул княжество Рейтлинген. Ловко умел он заметать за собою следы: никто не знал, где князь Исидор и что с ним.

Председатель Государственного Совета, почтенный старик, твердо заявил что, пока не вскрыто завещание, брат князя Ремигия не может быть признан правомочным престолонаследником; быть может в духовной об'явлены некоторые государственные тайны, разоблачение коих многое изменит в существующих отношениях.

При последних словах председатель повысил голос; они прозвучали веско и внятно; князь Исидор побледнел.

Завещание было оглашено с обычными в таких случаях обрядностями,—и всех кроме князя Исидора, повергло вместе в необычайную радость и в неописуемое изумление.

Только на смертном одре,—возвещал князь,—явственно предстала ему вся прискорбнейшая неправда жестокости его к непорочной супруге, которую он, по суетному подозрению в неверности, посеянному происками коварного злодея, изгнал из дома вместе с рожденным ею младенцем и заточил в отдаленный пустынный замок на окраине княжества, откуда она скрылась неведомо как и куда, ибо все розыски не могли навести на ее след. Сына своего, однако, по милосердию Божию, он, князь, обрел, ибо питает в душе глубочайшую и непоколебимую уверенность, что юноша, представленный ему

под именем Деодата Швенди, никто иной как его единственный сын, некогда отринутый им в ослеплении, каковое было навождение сатаны. Все сомнения, могущие возникнуть, в рассуждении тождества Деодата Швенди с его, князя, сыном и наследником, может устранить граф Терни, который спас и воспитал его сына; а живет граф Терни в уединении, в окрестностях Люцерна, под именем Амедея Швенди. Что же до злостного подозрения в законном рождении сына, князь скорбит, что возымел некогда таковые, и об'являет его лишенным всякого основания и безумным. Далее следовали сетования о содеянном, свидетельствовавшие о глубочайшем раскаянии князя, уверения, что всякое подозрение умерло в его груди, и строгие отеческие наставления, обращенные к сыну, преемнику наследственной власти.

Князь Исидор поглядел на присутствующих с презрительной усмешкой и, по выслушании духовной провозгласил, что признания князя — бред умирающего, он же отнюд не склонен поступаться своими законными правами из-за призраков расстроенного старческого воображения.

Во всяком случае мнимый престолонаследник отсутствует, и многое зависит от того, что скажет граф Терни и удастся ли последнему выяснить указанные князем обстоятельства с такою убедительностью и достоверностью, чтобы рассеялись все сомнения о молодом человеке, внезапно свалившемся с неба в качестве претендента на корону — и, быть может, простом искателе приключений. На основании изложенного, он, брат почившего князя вступает с настоящей минуты на престол.

Не успел князь Исидор договорить, как в залу, величавою поступью, в богатом одеянии, с осыпанной алмазами звездой на груди, вошел старый Амедей Швенди, или вернее, граф Терни, ведя за руку молодого человека, долго слывшего за его сына, Деодата Швенди. Взоры всех обратились на юношу; все в один голос сказали.

— Это — князь.

И — чудо за чудом! — едва приготовился держать речь граф Терни, как его прервал шум народного ликования, донесшийся в залу с улицы.

— Ура княгиня! Да здравствует княгиня! — раздавались крики толпы.

В дверях появилась высокая, величественная женщина. за нею следовал юноша.

— Возможно ли это?—воскликнул, забыв всякое самообладание, граф Терни: не сон ли я вижу? Княгиня!... Да, это—княгиня, которую мы считали навсегда пропавшей без вести!.

— Счастливый день!. Благословенный день!... И мать и сын—вот они, нашлись оба!.—такие слова слышались отовсюду.

— Да,—сказала княгиня,—кончина моего несчастного супруга возвращает вам, верной преданности вашей, не только вашу княгиню,—более того—взгляните на сына, рожденного ею, на вашего князя и повелителя страны.

С этими словами она вывела на середину залы юношу, который следовал за нею. Навстречу ему стремительно рванулся другой, пришедший с графом Терни, и оба остановились друг против друга в ужасе, как вкопанные: мало сказать, что они были похожи один на другого,—нет, один был двойником другого! Их лица, рост, осанка и движения—все, все являло не взаимное сходство обоих, но как-бы совершенное тождество...

Не уместно ли здесь подробнее разсказать благосклонному читателю, как сложилась семейная жизнь князя Ремигия?

Князь Ремигий и граф Терни были друзьями с детства. Вместе росли оба; тесно связали их общие обоим высокий ум и душевное благородство. Само собой случилось так, что, когда князь взошел на престол, его задушевный и неразлучный друг занял первое после него место в государстве. Что граф завоевал в этом положении всеобщее доверие, всеобщую любовь,—благосклонный читатель уже знает.

Оба, князь и его первый сановник, при посещении одного соседнего двора, одновременно влюбились: князь—в княжну Ангелу, Терни—в графиню Паулину. И, по странному совпадению, избранницы сердца обоих друзей были так же с самого детства связаны между собою горячею дружбою и любовью, как и счастливые их женихи.

В один и тот же день сочетались браком оба друга, и ничто на свете не могло, казалось, омрачить их счастья, основанного на глубоком сердечном чувстве и совершенном согласии душ... Но иначе судил темный рок!

Чем дольше вглядывалась княгиня в графа Терни, чем блистательнее развертывались перед нею его ум и характер, тем сильнее и чудеснее притягивал ее к себе этот удивительный человек. Сама чистота, сама добродетель—княгиня—это олицетворение беззаветной супружеской верности, вдруг с ужасом почувствовала себя зажженною и пожираемою пламенным влечением неукротимой любовью к графу. Она уже не видела и не слышала ничего в мире, кроме него; мертвая пустыня зияла в ее груди, когда его не было с нею; при его появлении, при звуке его голоса, небеса раскрывались в груди ее, душу пронизывали блаженные восторги. О разлуке, бегстве нечего было и думать; но невыносимо было и длить эту ужасную борьбу с пылающею страстью, с мучительными укорами совести. Часто казалось, будто она хотела бы выдохнуть в грудь подруги свою любовь вместе со своею жизнью. Обливаясь слезами она судорожно прижимала к себе графиню и давала волю раздирающим сердце жалобам:—„Счастливая, тебе светлый рай, мне вся надежда—смерть!.“

Графиня, не догадываясь о причине безумных страданий своей подруги, болела ими с нею, плакала ее слезами и так же призывала смерть: граф был смущен и встревожен беспричинною печалью и унынием своей жены, прежде столь ясной и беззаботной.

Обе подруги с раннего детства обнаруживали преувеличенную восторженность и чувствительность, граничащие с истерией. С тем большим правдоподобием врачи приписывали все болезненные проявления необычного возбуждения, особенно частые и резкие у княгини, менее приметные у графини, беременности обеих женщин.

Было ли то редкою игрою случая или чудесным действием роковых сил,—но случилось, что обе разрешились от бремени не только в один и тот же час, но и в одну и ту же минуту, и обе—сыновьями. Мало того! С каждою неделею, с каждым днем все явственнее бросалось в глаза полное сходство, можно сказать—совершенная одинаковость обоих младенцев; их нельзя было различить. И оба в своих детских чертах уже очевидно воспроизводили черты графа Терни.

Впечатление общего сходства обоих с Терни могло бы все же быть и почтено ошибочным или случайным; но решительно подтверждалось оно исключительным по своему благо-

родному своеобразию строением черепа и одинаковою у обоих детей, как и у самого Терни, родинкой в виде полумесяца на левом виске.

Враждебное недоверие, злая подозрительность, — обычные спутники души испорченной, — давно подсказали князю Исидору разгадку душевного состояния княгини. Он изо всех сил старался отравить сердце князя ядом ревности; но князь с презрением от него отвращался. Настало удобное время возобновить нападение на графа и княгиню — решил князь Исидор, смертельно ненавидевший и того и другую, за их постоянное и упорное противодействие его вредоносному влиянию.

Безусловное доверие князя к жене втайне пошатнулось; но никогда не довело бы его до ужасного, рокового решения простое сходство обоих детей с графом Терни, еслибы поведение княгини явными доказательствами не подтверждало всех подозрений.

Она не знала более покоя; терзаемая безутешною тоской, безымянною мукой билась она и рыдала дни и ночи. То покрывала ребенка нежными, страстными поцелуями, то, отвернув прочь лицо, отдавала его мамке с выражением гадливого ужаса. — „Правосудный Боже, так жестоко караешь ты наши преступления!“ — этот крик княгини многие слышали и не умели истолковать его иначе, как выражение горького раскаяния в содеянном злом деле.

Так прошло несколько месяцев. Наконец, решение князя созрело. Однажды ночью приказал он отвести мать с ребенком в уединенный пограничный замок и в тот же день отставил графа Терни от придворных должностей. Но и брат, вид которого стал ненавистен для князя, должен был уехать за границу.

Дух согрешил один; плотской похоти не было; верность осталась непоколебимою: но и грех помысла, грех воли был в глазах княгини преступлением, заслужившим кару, нуждающимся в искуплении подвигами глубочайшего покаяния.

Заточение в пустынном замке, под строгим надзором княжеской стражи, способствовали тому, что исступленное состояние изгнанницы возросло до пределов безумия.

Случилось однажды, что мимо замка проходил с дикой музыкой и пением кочевой цыганский табор и расположился станом у замковых стен.

Словно завеса упала с глаз княгини: снова могла она заглянуть мимоходом на яркую пеструю жизнь. Невыразимое желание стало подмывать ее: „вон из этих стен, на вольную волю!.. "— „Возьмите меня с собой!" — крикнула она, протягивая цыганам руки из открытого окна. Какая-то цыганка, казалось, поняла ее, ласково ей кивнула, и с быстротою молнии влез на стену мальчишка-цыган. Княгиня взяла на руки своего ребенка, сбежала вниз, дверь оказалась не замкнутой, цыганенок подхватил дитя и ловко перебрался с ним наружу. Беспомощно стояла княгиня перед высокой стеной, перелезть через которую была не в силах, миг, — и перекинута ей веревочная лестница, — и вот, она на воле...

С ликованием принял ее табор: согласно своим верованиям, он увидел в знатной женщине, бежавшей из тюрьмы, свою счастливую звезду, предвестие всякой удачи. „О, о!" — говорила старая цыганка, — „ужели вы не видите, как горит княжеская корона на ее голове? Такой блеск никогда не потухнет."

Дикая кочевая жизнь цыган, их занятия ведовством, тайным искусством был благотворен княгине: ее исступленность, грозившая сумасшествием, нашла себе исход и свободное проявление; это мирило ее с жизнью. Ребенка цыганы хитро подкинули старому благочестивому сельскому священнику, который с ревностью отдался его воспитанию. Едва ли необходимо прибавлять, что вещая женщина с вороном была княгиня: она стала выступать под этой личиной, когда приобрела некоторое душевное спокойствие и, утомясь дикою жизнью, рассталась с табором. Этим об'ясняется и поведение князя Исидора: принимая художника Георга Габерланда и молодого Деодата Швенди за одно лицо, а именно за князя-сына, он искал всяческими кознями сжить со света того, кто один был ему помехой на пути к престолу.

Чудесно, что обоим, Габерланду и Швенди, с детства снилась возлюбленная, представшая им впоследствии воплощенною в жизни. Чудесно, что это была именно Наталия, дочь князя Исидора, в которой как граф Терни, так и княгиня видели существо, избранное небом, чтобы, в союзе с молодым князем остановить губительное действие темного рока, дотоле тяготевшего над княжеским домом. Оба, употребляя к тому все средства, какие были в их распоряжении,

стремились соединить чету: брак этот, по их убеждению, был предопределен всею таинственною связью событий.

Читатель знает, как разбились эти замыслы, — тем что пути двойников скрещивались на каждом шагу. Он знает так же, как в последние дни князя все разогнанные его гневом, опять собрались вблизи от него.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

A. L.

Итак, оцепенев от ужаса, как в землю вкопанные, стояли друг против друга оба двойника. Глухое, гробовое томление отяготело над собранием; каждый из присутствующих спрашивал в душе: „кто же из обоих князь?“

Граф Терни первый прервал молчание: он подошел к юноше, вошедшему за княгиней, со словами, в звуке которых можно было одновременно расслышать и боль, и счастие:

— Мой сын!..

В глазах княгини сверкнула молния. Она промолвила с подавляющим величием:

— Твой сын, граф Терни?.. А кто тот, что стоит рядом с тобою?.. Похититель трона, принадлежащего тому, кого я выкормила своею грудью?..

Князь Исидор обратился к собранию и сказал, что, так как личность молодого князя-наследника окончательно не выяснена, то, разумеется, ни тот ни другой соискатель не может взойти на престол, пока тяжба не решится в пользу одного из них, — того, кто представит наилучшие и достовернейшие доказательства законности своего происхождения.

— Вопрос этот, — возразил граф Терни, — не нуждается в длительном исследовании. В несколько минут я берусь убедить собрание в том, что мой воспитанник — сын покойного князя Ремигия и, следовательно, правомочный престолонаследник.

То, что вслед за тем граф изложил собранию, сводилось к следующему:

Доверенные слуги князя Ремигия столь преданы были графу, что заблаговременно известили последнего о княжеском решении и даже о сроке, назначенном для увоза в заточение княгини с сыном. Граф взвесил опасность коей подвергается престолонаследник, предусмотрел недоразумения, могущие впоследствии возникнуть по причине сходства дитяти с его

собственным сыном, наконец, бедствия, грозящие стране в случае смерти князя, — решился все эти беды предотвратить.

Ему удалось поздно ночью, в сопровождении двух доверенных советников, начальника тайного архива, княжеского лейб-медика и старого камердинера проникнуть в переднюю покоев княгини. Старая, посвященная в тайну графского замысла, мамка, едва княгиня забылась сном, вынесла дитя в переднюю. Ребенок тихо спал под действием наркотических средств, и хирург выжег ему по левую сторону груди небольшой знак; после чего граф Терни принял наследника на руки и отдал мамке своего сына. О всем происшедшем был составлен обстоятельный протокол, с приложением снимка с клейма, наложенного на грудь младенца, подписан всеми присутствующими, запечатан и передан архивариусу для хранения в тайном княжеском архиве.

Так случилось, что сын графа Терни был увезен вместе с княгиней, а сын князя воспитан графом и слыл за его собственного сына.

Графиня, подавленная безутешным горем, день и ночь оплакивая судьбу своей беззаветно любимой подруги, умерла вскоре после переселения в Швейцарию.

Из лиц, подписавших протокол, еще живы были хирург, архивариус, мамка и камердинер; по распоряжению графа Терни, все они собрались в зале.

Архивариус принес запечатанный пакет; в присутствии участвовавших в подмене ребенка лиц, печати были сняты, и протокол прочитан во всеуслышание председателем Государственного Совета.

Деодат обнажил грудь, клеймо было отчетливо видно, все сомнения устранены, и клики восторженных приветствий, горячих благословений вырвались из груди преданных вассалов.

Во время чтения протокола, граф Исидор, дыша злобою, покинул залу.

Когда княгиня осталась одна с графом Терни и обоими юношами, — казалось, грудь ее не могла более вместить всей бури раздиравших ее противочувствий. В исступлении кинулась она на шею графу и вскричала, как бы растворяясь и тая в блаженстве и муке:

— О Терни! Свое родное дитя ты оттолкнул от себя, чтобы спасти ребенка, которого я выносила!.. Но вот я воз-

вращаю тебе потерянного тобою сына!.. О, Терни, мы оба не принадлежим более земле, отныне бессильно над нами земное горе. Насладимся горним покоем, блаженством небес! Над нами витает примиренный дух — отшедшего... Но я и забыла: она ждет, — она ждет, счастливая невеста!

С этими словами княгиня вышла в соседнюю комнату и вернулась с Наталией, одетой в подвенечный наряд. До сего мгновения оба юноши, бессильнные вымолвить слово, обменивались жуткими взглядами, в которых отражался затаенный испуг. Но едва завидели они Наталию, словно молния обожгла и оживила обоих; с громким криком: „Наталия!“ бросились оба к девушке ясной и кроткой, как ангел. Она, в свою очередь, вся затрепетала от ужаса, увидя обоих: раздвоенным и дважды повторенным предстал ей образ возлюбленного ее мечты.

— Га!.. — дико вскричал молодой Терни, — ты, князь, — двойник мой, ты встал из ада, чтобы нетолько украсть мое я, но отнять у меня Наталию! Грудь мою хочешь ты разорвать и жизнь мою вырвать из груди!.. Тщетный, безумный умысел! Она — моя, моя!

— Что вторгаешься ты в мое я? — отозвался князь: что мне за дело до того, что ты обезьянишь меня, мое лицо, все мое явление? Прочь с моего пути! Наталия — моя!

— Решай, Наталия! — кричал юный Терни: — скажи не клялась ли ты быть мне верной? — Не тысячу ли раз клялась в те блаженные часы, когда я писал твой портрет, когда...

— Вспомни, — прервал его князь, — вспомни свидание в развалинах замка, где ты хотела уйти за мной!

Перебивая один другого оба кричали:

— Решай ты, ты решай, Наталия!

И снова грозили друг другу:

— Посмотрим кому из нас обоих удастся сжить со света проклятого своего двойника!.. Истечь кровью ты должен коли ты не призрак мой, не адское навождение!

Тогда Наталия воскликнула с отчаянием:

— Праведный Боже! Кто из обоих тот, кого я люблю? Ужели это сердце раскололось на двое — и все еще бьется!.. Боже праведный, пошли мне смерть, дай умереть мне в это самое мгновение!

Слезы заглушили ее голос. Она опустила голову и закрыла лицо руками, как будто хотела заглянуть в самую глубь своего сердца. Потом упала на колени, подняла вверх полные слез глаза и молитвенно сложенные руки, замерла в горячей молитве, наконец тихо, голосом пронзающей сердце скорби, молвила:

— Отрекитесь!

— Это сам ангел вечного света вам говорит!—воскликнула княгиня; лицо ее светилось высоким одушевлением.

Еще раз переглянулись юноши с выражением дикого вызова, — как вдруг слезы брызнули из их глаз, они бросились один другому на шею, сжимали друг друга в об'ятиях и лепетали:

— Да! Отречение... отречение... Прости меня, брат!

Из-за меня, — говорил молодой князь своему сопернику, — из-за меня покинул тебя отец и ты страдал: я отрекаюсь.

Молодой Терни отвечал:

— Что мое отречение перед твоим? Тебе, князю страны, была предназначена принцесса.

— Слава силе твоей, Господи! — воскликнула Наталия: Все кончилось!

Прощальный поцелуй напечатлела она на чело каждого из обоих юношей и, шатаясь, вышла, опираясь на руку княгини...

— Опять я теряю тебя, — грустно сказал старый Терни, когда сын его подошел с ним проститься.

— Отец, — воскликнул тот в ответ, — отец, отпусти меня на время, дай мне свободу, чтобы я не погиб, чтобы раны сердца зажили...

Молча обнял он еще раз князя, отца и быстро вышел вон...

Наталия постриглась в отдаленном монастыре; впоследствии она стала его настоятельницей. Княгиня, обманутая в своих последних надеждах, велела отстроить для жилья пограничный замок, прежнее место ее заточения, и удалилась в него, как в обитель пустынножительства. Граф Терни остался с князем. Обоим было по сердцу, что князь Исидор опять покинул пределы княжества.

Город Гоэнфли охмелел от радости и ликования. Цех столяров, подкрепленный достойными представителями плотничьего цеха, карабкался, презирая опасность, вверх и вниз по высокой триумфальной арке и стучал без устали и без умолку топорами и молотками, меж тем как маляры, наготове замалевать только что сколоченные доски, пошевеливали кистями в горшках с краскою, а садовники громоздили тут же груды цветочных венков и гирлянд из темнозеленого тиса. Воспитанники сиротского приюта, в праздничной форме, уже выстроились тесными рядами на рыночной площади. Школьная молодеж, спеваясь, затягивала народный гимн, звуки которого время от времени прерывала отрывистою нотою, словно прочищая охрипшее горло, медная труба. А там зацветал целый цветник юных барышен, дочек благонамеренного гражданства, пестрея свеже-выстиранными и выглаженными платьицами, тогда как дочка городского головы одна красовалась и мучилась в шуршащом атласе, отирая со лба трудовой пот, ибо молодой кандидат, слывший в Гоэнфли поэтом по профессии, не переставал репетировать с нею сочиненую им хвалебную оду, которою девица должна была встретить молодого князя, причем стихотворец не желал пожертвовать в виде уступки затрудненной исполнительнице ни малейшим оттенком декламации.

Под руку прогуливались по улице оба сдружившиеся трактирщика, содержатели Золотого Козла и Серебряного Ягненка, греясь, как на солнышке, в лучах сознания, что оба принимали под своим кровом повелителя страны, — и с удовольствием поглядывали на колоссальные литеры: „Vivat Princeps!“ которые должны были ярко запылать вечером над воротами обеих гостиниц: литеры состояли из скрепленных проволокою плошек, в которые только что налили масла, и не могли не произвести в час иллюминации поразительного эффекта...

В одежде странствующего пешехода, с дорожным ранцем и папкою для рисунков за спиной, проскользнул художник Георг Габерланд (молодой граф Терни пожелал остаться до поры до времени художником Габерландом) в Нейдорфские ворота.

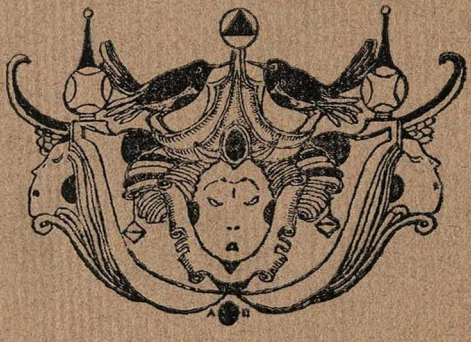
— А! — закричал навстречу ему идущий Бертольд — добрая встреча! Счастливый путь, брат Георг. Я все знаю. Слава

Богу, что ты не владетельный князь: вся бы дружба прахом пошла. Твой графский титул для меня не существует: я знаю, что ты просто художник, и таким останешься.. А та, которую ты любишь?.. Не земное она существо и не на земле ей жить! В тебе самом живет она, как высокий, чистый идеал твоего искусства. Этот идеал воспламеняет тебя; этот идеал будет дышать в твоих произведениях силою вечной любви, — той, что царит на звездном престоле.

— Ах, брат Бертольд! — ответствовал Георг и глаза его загорелись огнем восторга: прав ты, — она — само искусство, которым все существо мое дышит. Нет, ничего я не утратил, а если порой случится мне отвернуться на миг от небесного, и овладеет мною земная скорбь, и пригнет меня к земле, с тобой неразлучный, ясная ты душа, — на твоей неизменчивой надежной груди,—

Я найду в участьи друга
Боль сердечного недуга!..
Умягчающий бальзам...

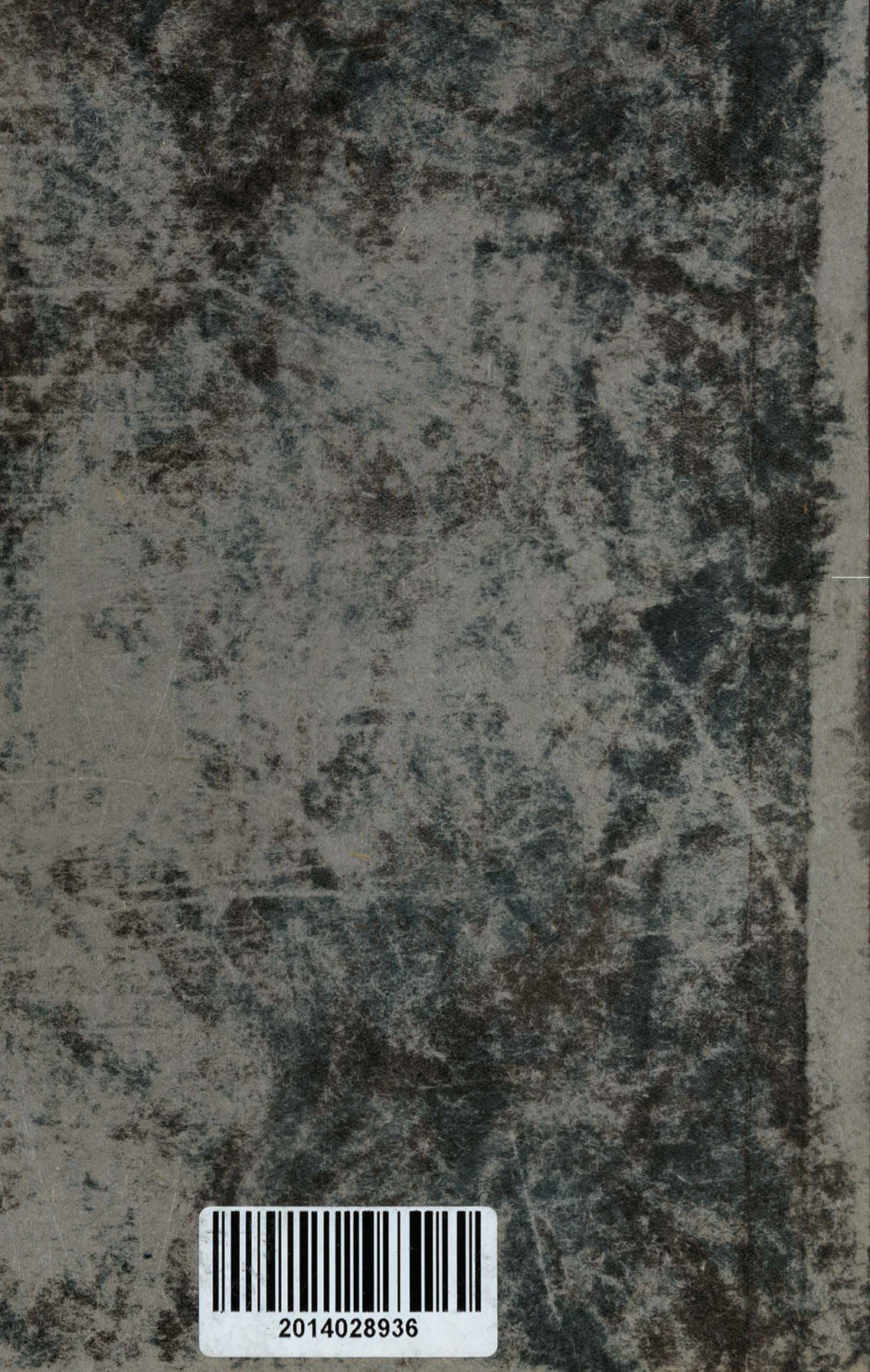
И пошли юноши в далекий путь, за горы...



24 MAP 1941

Метиз № 18
ч. 12 р.

Госиздат РСФСР


2014028936